

ИРВИН ЯЛОМ

КАК Я СТАЛ  
СОБОЙ

*воспоминания*



Ирвин Ялом. Легендарные книги

Ирвин Ялом

**Как я стал собой. Воспоминания**

«ЭКСМО»

2017

УДК 821.111-94(73)

ББК 84(7Сое)-44

**Ялом И. Д.**

Как я стал собой. Воспоминания / И. Д. Ялом — «Эксмо»,  
2017 — (Ирвин Ялом. Легендарные книги)

ISBN 978-5-04-090837-0

Память – вещь ненадежная, книга в этом плане – настоящее спасение для тех, кто осознает важность своего прошлого. Ирвин Ялом, автор мировых бестселлеров и популярный психолог, запечатлел на страницах новой книги все самые важные моменты своей жизни. С этими мемуарами читателю выпадает уникальная возможность погрузиться в воспоминания одного из самых успешных современных писателей, чьи книги «Лжец на кушетке», «Когда Ницше плакал», «Шопенгауэр как лекарство» влюбились в себя весь мир и закрепили за ним звание мастера слова и блестящего собеседника.

УДК 821.111-94(73)

ББК 84(7Сое)-44

ISBN 978-5-04-090837-0

© Ялом И. Д., 2017

© Эксмо, 2017

## Содержание

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ БЕСТСЕЛЛЕРЫ	7
Глава первая	9
Глава вторая	11
Глава третья	15
Глава четвертая	19
Глава пятая	26
Глава шестая	30
Глава седьмая	38
Глава восьмая	41
Глава девятая	45
Глава десятая	51
Глава одиннадцатая	54
Глава двенадцатая	63
Глава тринадцатая	67
Глава четырнадцатая	69
Конец ознакомительного фрагмента.	71

# Ирвин Ялом

## Как я стал собой. Воспоминания

Irvin D. Yalom

BECOMING MYSELF

Copyright © Irvin D. Yalom, Dr, 2017 First published by Basic Books

Translation rights arranged by Sandra Dijkstra Literary Agency

© Мельник Э. И., перевод на русский язык, 2018

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2018

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет за собой уголовную, административную и гражданскую ответственность.

\*\*\*

Путь к себе, как известно, каждый ищет по-разному. ИРВИН ЯЛОМ выбирает для этого мемуары. Перешагнув рубеж своего 85-летия, он решает записать все, что было радостного и печального в его жизни. Цепочка воспоминаний, описанная чистым и ясным слогом, заставит вас проникнуться историей одного из самых знаменитых психологов нашего времени и расскажет о том, что сделало его таким, каков он есть.

\*\*\*

### ОБ АВТОРЕ

Ирвин Ялом – известный во всем мире психотерапевт, автор научно-популярной и художественной литературы. Его романы «Лжец на кушетке», «Когда Ницше плакал», «Мамочка и смысл жизни» и другие завоевали любовь читателей по всему свету, а суммарный тираж превысил 50 миллионов экземпляров.

\*\*\*

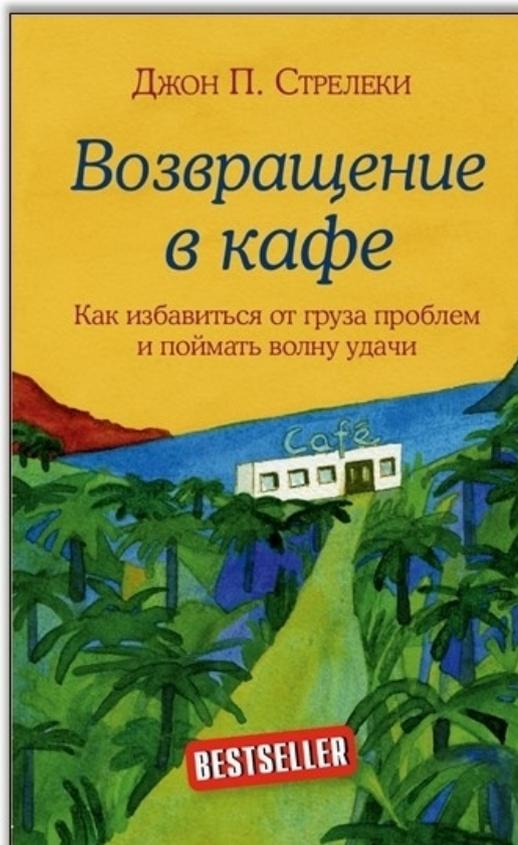
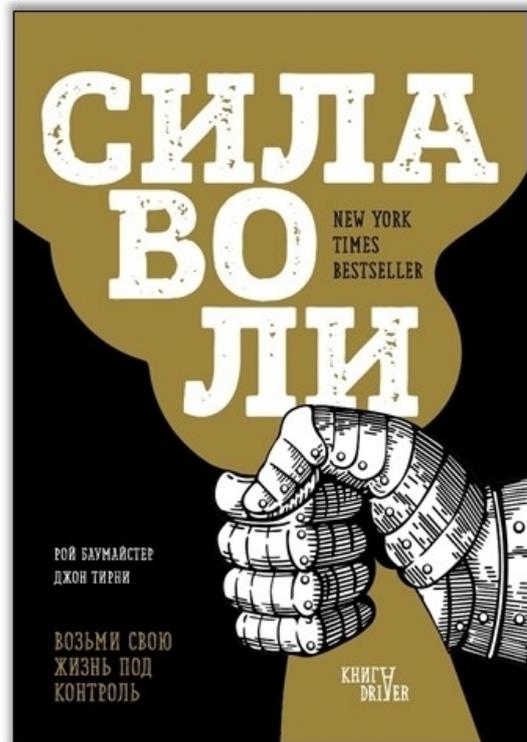
«Слово «воспоминания» многим кажется скучноватым. Но истории психотерапевта Ирвина Ялома, которые знает весь мир, никогда не были скучными. Не становятся и на этот раз, когда он – против обыкновения – рассказывает о себе самом. Почему? Возможно, потому, что он себя не приукрашивает. Но и не очерняет. Он относится к себе так же, как к своим пациентам: с пониманием и уважением, основанным на честности, а не на иллюзиях. Прежде нами увлекательное повествование и вдохновляющий пример того, как стать собой – а это цель, к которой стремится каждый из нас».

*Ольга Сульчинская,*  
*шеф-редактор Psychologies*

\*\*\*

*В память о моих родителях,  
Рут и Бенджамине Яломах, и сестре Джин-Роуз*

## ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ БЕСТСЕЛЛЕРЫ



**Прочь из замкнутого круга! Как оставить проблемы в прошлом и впустить в свою жизнь счастье**

Почему мы совершаем одни и те же ошибки раз за разом? Где искать причины наших неудач? В своей книге ведущие американские психотерапевты Джеффри Янг и Жанет Клоско поделятся уникальными фактами о паттернах поведения и расскажут, как разорвать порочный круг и изменить жизнь к лучшему.

**Сила воли. Возьми свою жизнь под контроль**

Считаешь, что натренировать силу воли невозможно? Думаешь, что самодисциплина не относится к числу твоих талантов? Дж. Тирни и Р. Баумастер предлагают простую систему самовоспитания, которая не потребует запредельных усилий. Авторы делятся целым набором способов «перехитрить» себя и постепенно, день за днем, сделать силу воли и самоконтроль естественной частью повседневной жизни. Их подход – тот редкий случай, когда проблему предлагается решать не в лоб, а используя обходные пути.

**Возвращение в кафе. Как избавиться от груза проблем и поймать волну удачи**

Если суета повседневной жизни угнетает, если вы не знаете, как освободиться от груза проблем, если тяжело на душе, пора все поменять! Это новый роман от Джона Стрелеки, автора бестселлера «Кафе на краю земли», о том, как найти свой путь и следовать за своими желаниями. Чудесная атмосфера добра и искренности, увлекательные истории о нашей роли в этом мире и ответы на самые главные вопросы о цели жизни навсегда изменят ваше отношение к реальности и откроют путь к переменам.

**Палач любви и другие психотерапевтические истории**

«Палач любви» – одно из ключевых произведений известного американского психотерапевта. Проблемы, с которыми сталкиваются пациенты Ирвина Ялома, актуальны абсолютно для всех: боль утраты, неизбежность старения и смерти, горечь отвергнутой любви, страх свободы. Читателя ждет колоссальный накал страстей, откровенные признания и лихо закрученный сюжет, который держит в напряжении до последней страницы.

## Глава первая Рождение эмпатии

Я просыпаюсь в три часа ночи, плача в подушку. Двигаясь тихонько, чтобы не побеспокоить Мэрилин, я выскальзываю из постели, иду в ванную, вытираю глаза и следую указаниям, которые даю пациентам вот уже пятьдесят лет: закрой глаза, воспроизведи мысленно свой сон и запиши то, что видел.

*Мне лет десять, может быть, одиннадцать. Я качу на велосипеде вниз по холму недалеко от дома моих родителей. Вижу девочку по имени Элис, сидящую на открытой веранде своего дома. Она чуть старше меня, симпатичная, хотя ее лицо покрыто красными пятнышками. Я окликаю ее, проезжая мимо:*

*– Привет, Краснуха!*

*Внезапно мужчина, невероятно огромный и сильный на вид, вырастает перед моим велосипедом и останавливает его, ухватив за руль. Я откуда-то знаю, что это отец Элис.*

*Он громко говорит мне:*

*– Эй, ты, как там тебя! Задумайся на минуту – если ты вообще способен думать – и ответь вот на какой вопрос. Задумайся о том, что ты только что крикнул моей дочери, и скажи мне одну вещь: что Элис чувствует, когда ты это говоришь?*

*От испуга я не могу вымолвить ни слова.*

*– Ну, давай, отвечай! Ты парнишка Блумингдейла<sup>1</sup>, и я готов побиться об заклад, что ты – умный еврейчик. Так давай же, догадайся, что чувствует Элис, когда ты такое говоришь.*

*Я трепещу. Язык у меня отнялся от ужаса.*

*– Ладно-ладно, – говорит он. – Успокойся. Сделаем проще. Просто скажи мне вот что: как из-за твоих слов Элис относится к себе – хорошо или плохо?*

*Меня хватает только на то, чтобы промямлить:*

*– Не знаю...*

*– Не получается подумать честно, да? Ничего, я тебе помогу. Предположим, я посмотрел на тебя, выбрал в тебе одну плохую черту и стал отпускать замечания о ней всякий раз при встрече с тобой... – Он пристально вглядывается в меня. – У тебя в носу сопли, верно? Как насчет прозвища «сопляк»? Левое ухо у тебя больше правого. Предположим, я говорю «толстоухий» всякий раз, как вижу тебя. А как насчет «еврейчика»? Да, вот именно! Тебе бы это понравилось?*

*Во сне я понимаю, что уже не первый раз проезжаю мимо этого дома, что я делал то же самое день за днем – проезжал мимо и окликал Элис одними и теми же словами, пытаюсь завязать разговор, пытаюсь подружиться с ней. И всякий раз, выкрикивая «Эй, Краснуха!», я обижал, оскорблял ее. Я в ужасе – от вреда, который причинял раз за разом, и от того факта, что был так слеп и не видел этого.*

*Когда ее отец наконец отпускает меня, Элис спускается со ступенек крыльца и тихо говорит:*

*– Хочешь зайти к нам поиграть?*

*Она бросает взгляд на отца. Тот кивает.*

---

<sup>1</sup> Продуктовый магазин моего отца назывался «Блумингдейл-Маркет», и многие покупатели думали, что Блумингдейл – это наша фамилия. – Прим. авт.

*– Я чувствую себя так ужасно, – отвечаю я. – Мне стыдно, так стыдно! Я не могу, не могу, не могу...*

Начиная с ранних подростковых лет я всегда читал на ночь в постели, пока не засыпал. Не изменил я этой привычке и сейчас, и в последние две недели меня занимала книга Стивена Пинкера, которая называется «Лучшее в нас». Сегодня перед сном я прочел главу о развитии эмпатии в эпоху Просвещения и о том, как расцвет романа, в особенности британского эпистолярного романа, образцами которого являются «Кларисса» и «Памела»<sup>2</sup>, сыграл свою роль в укрощении жестокости и насилия, помогая нам почувствовать мир с точки зрения другого человека. Я погасил свет около полуночи, а пару часов спустя проснулся, разбуженный кошмаром об Элис.

Успокоившись, я возвращаюсь в постель, но еще долго лежу без сна. Я размышляю: как примечательно, что этот давнишний гнойник, этот запечатанный «конверт» вины, которому стукнуло вот уже семьдесят три года, вдруг прорвался именно сейчас. Теперь мне вспоминается, что я, двенадцатилетний, действительно проезжал на велосипеде мимо дома Элис, выкрикивая эти слова – «Эй, Краснуха!» – в какой-то грубой, болезненно неэмпатической попытке привлечь ее внимание. Ее отец никогда не делал мне выговора; но теперь, в возрасте восьмидесяти пяти лет, лежа в постели и приходя в себя после этого кошмара, я могу вообразить, как, должно быть, она себя чувствовала и какой вред я мог ей нанести. Прости меня, Элис!

---

<sup>2</sup> Романы Сэмюэла Ричардсона. – Прим. перев.

## Глава вторая

### В поисках наставника

Майкл, шестидесятипятилетний физик, – мой последний пациент в этот день. Двадцать лет назад, на протяжении примерно двух лет я проводил с ним терапию<sup>3</sup>. С тех пор я не получал от него известий, пока пару дней назад он не написал мне электронное письмо, где были такие слова: «Мне необходимо увидеться с вами – статья (см. ссылку) много чего разожгла, как хорошего, так и плохого». Ссылка из письма вела к статье в «Нью-Йорк таймс», рассказывавшей, что Майкл недавно получил крупную международную научную премию.

Когда он усаживается в кресло в моем кабинете, я заговариваю первым:

– Майкл, я получил вашу записку. Вы пишете, что нуждаетесь в помощи. Мне жаль, что вы расстроены, но я также хочу сказать, что мне приятно вас видеть, и я с радостью узнал о вашей награде. Я не раз вспоминал вас в минувшие годы и гадал, как у вас дела.

– Спасибо за теплые слова...

Майкл оглядывает кабинет. Он жилистый, настороженный, почти лысый, около шести футов ростом; его блестящие карие глаза лучатся умом и уверенностью.

– Вы сделали перестановку в кабинете? Эти стулья раньше стояли вон там – верно?

– Ага, я устраиваю ремонт каждую четверть века.

Он хмыкает.

– Так, значит, вы видели ту статью?

Я киваю.

– Наверное, вы сами можете догадаться, что случилось со мной дальше: бурный прилив гордости – но слишком недолгий, – а потом, волна за волной, тревожные сомнения в себе. Все та же история – где-то в глубине души у меня пустота.

– Давайте сразу этим и займемся...

Остаток сеанса мы посвящаем повторению пройденного: его необразованные родители, ирландцы-иммигранты, детство, скитания по нью-йоркским съемным квартирам, скверное начальное образование, отсутствие сколько-нибудь значимого наставника... Майкл странно говорил, как завидует людям, которых брали под крыло и воспитывали старшие, пока он должен был бесконечно трудиться и получать высшие оценки – чтобы на него хотя бы обратили внимание. Ему пришлось создавать самого себя с нуля.

– Да, – киваю я. – Создавая самого себя, обретаешь источник великой гордости. Но это дает и ощущение, что у тебя нет никакого фундамента. Я знал многих одаренных детей иммигрантов, которым кажется, что они – лилии, растущие в болоте. Прекрасные цветы, но без глубоких корней.

Майкл вспоминает, как я говорил то же самое много лет назад, и замечает, что рад этому напоминанию. Мы договариваемся провести еще несколько сеансов, и он признается, что уже чувствует себя лучше.

Мне всегда хорошо работалось с Майклом. У нас возник контакт с самой первой встречи, и он временами говорил мне: ему кажется, я – единственный человек, который по-настоящему его понимает. В первый год нашей терапии он много рассказывал о своей спутанной идентичности. Действительно ли он был тем самым «отличником», который давал фору всем остальным? Или бездельником, который проводил свое свободное время за бильярдом или игрой в кости?

---

<sup>3</sup> Здесь и далее везде, где автор употребляет слово «терапия», имеется в виду психотерапия. – *Прим. перев.*

Как-то раз, когда Майкл снова жаловался на спутанную идентичность, я рассказал ему свою историю – об окончании средней школы имени Рузвельта в Вашингтоне. С одной стороны, меня официально уведомили, что я получу во время вручения аттестатов почетную медаль школы Рузвельта. Однако в выпускном классе я открыл небольшой букмекерский бизнес, принимая ставки на бейсбол: я давал десять к одному, что любые три произвольно выбранных игрока в любой отдельный день не сделают все вместе шесть хитов. Шансы были в мою пользу. Я на диво хорошо зарабатывал, и у меня всегда были деньги, чтобы купить для Мэрилин Кёник, моей постоянной девушки, букетик гардений на корсаж. Однако за пару дней до выпускного я потерял свой блокнот с записями ставок. Куда он запропастился?! Я лихорадочно искал его повсюду вплоть до самого момента вручения аттестатов. Даже услышав свое имя и начав путь через сцену, я дрожал, гадая, что произойдет – меня наградят за блестящее окончание школы или исключат за азартные игры?

Когда я поведал эту историю Майклу, он расхохотался во все горло, а потом пробормотал: – Вот такой мозгоправ мне определенно по душе!

Набросав заметки о нашем сеансе, я переодеваюсь в обычную одежду и теннисные туфли и вывожу из гаража велосипед. В мои восемьдесят четыре года теннис и бег трусцой остались уже далеко позади, но почти каждый день я катаюсь по велосипедной дорожке неподалеку от своего дома.

Я начинаю крутить педали и еду по парку, полному детских колясок, летающих фрисби и малышей, карабкающихся на диковинные ультрасовременные сооружения. Потом проезжаю через простенький деревянный мостик над Матадеро-Крик и поднимаюсь на небольшой холм. Его склон с каждым годом, как мне кажется, становится все круче. На вершине я расслабляюсь и начинаю долгое скольжение вниз по склону. Обожаю мчаться вперед, когда порывы теплого воздуха струями бьют в лицо. Только в эти моменты я начинаю понимать своих друзей-буддистов, которые говорят, что надо опустошать разум и нежиться в ощущении *просто бытия*.

Но этот покой всегда бывает недолгим, и сегодня я ощущаю, как в крыльях моего разума шелестит греза, готовящаяся к выходу на сцену. Это греза, которую я воображал много раз, – возможно, сотни раз за свою долгую жизнь. Несколько недель она не посещала меня, но жалоба Майкла на отсутствие наставников пробуждает ее к жизни.

*Мужчина с портфелем, одетый в полотняный костюм в полоску, соломенную шляпу, белую рубашку и галстук, входит в маленькую, дешевую продуктовую лавчонку моего отца. Меня там нет: я вижу всю сцену так, словно парю под потолком. Я не узнаю гостя в лицо, но знаю, что это человек влиятельный. Скорее всего, это директор моей начальной школы. Дело происходит в жарком, душном июньском Вашингтоне, и он достает носовой платок, чтобы промокнуть лоб, прежде чем обратиться к моему отцу:*

*– Мне нужно обсудить с вами важные вещи, касающиеся вашего сына, Ирвина.*

*Отец ошарашен и встревожен; никогда прежде с ним не случалось ничего подобного. Мои отец и мать, так и не ассимилировавшиеся до конца в американской культуре, непринужденно чувствовали себя только с такими же, как они, – другими евреями, эмигрировавшими вместе с ними из России.*

*Хотя в магазине есть посетители, требующие внимания, мой отец понимает, что перед ним человек, которого негодже заставлять ждать. Он звонит моей матери – наша небольшая квартирочка располагается прямо над магазином – и, отойдя подальше от гостя, чтобы тот не слышал, на идише велит ей бегом спуститься на первый этаж. Пару минут спустя мать является и принимается деятельно обслуживать покупателей, в то время как мой отец ведет незнакомца в крохотную подсобку магазина. Они усаживаются на ящики с пустыми*

бутылками и беседуют. К счастью, ни крысы, ни тараканы не заявляют о своем присутствии.

Мой отец явно не в своей тарелке. Он предпочел бы, чтобы эту беседу вела мать; но было бы недостойно публично признать, что это она, а не он, всем здесь заправляет и принимает важные семейные решения.

Человек в костюме рассказывает отцу поразительные вещи.

– Учителя в моей школе говорят, что ваш сын Ирвин – экстраординарный ученик и обладает потенциалом, позволяющим внести выдающийся вклад в наше общество. Но это случится в том случае – и только в том случае, – если ему будет обеспечено хорошее образование.

Мой отец, кажется, застывает на месте, не сводя красивых, пронизательных глаз с незнакомца, который тем временем продолжает:

– Знаете, школьная система Вашингтона неплоха, и ее вполне довольно для среднестатистического ученика. Но ученику столь талантливого, как ваш сын, в ней не место. – Он раскрывает портфель, протягивает отцу список нескольких частных школ и объявляет: – Рекомендую вам до конца обучения отправить его в одну из этих школ.

Потом он достает из бумажника визитную карточку и протягивает ее отцу со словами:

– Если вы свяжетесь со мной, я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь ему получить стипендию. – И, видя недоумение отца, поясняет: – Я попытаюсь заручиться помощью для оплаты его обучения – эти школы не бесплатны, в отличие от общественных школ. Прошу вас, ради сына! Пусть это станет вашим высшим приоритетом.

Обрыв пленки! Греза всегда заканчивается на этом моменте. Мое воображение отступает, не желая завершать эту сцену. Я никогда не вижу ни реакции отца, ни его последующего разговора с матерью. Эта греза выражает мое страстное желание быть спасенным. В детстве мне не нравились моя жизнь, мой район, моя школа, мои товарищи. Я мечтал, чтобы меня спасли; и в этой грезе меня – впервые в жизни – признает особенным важный посланец внешнего мира, мира за пределами культурного гетто, в котором я рос.

Теперь я оглядываюсь назад и вижу эту фантазию о спасении и возвышении во всем своем творчестве. В моем романе «Проблема Спинозы», в третьей главе, Спиноза, шагая к дому своего учителя, Франциска ван дер Эндена, погружается в грезу наяву. Эта греза заново пересказывает историю их первого знакомства, случившегося парой месяцев ранее. Ван дер Энден, бывший преподаватель древних языков в колледже иезуитов, ныне руководит частной академией. Он забрел в лавку Спинозы, чтобы купить вина и изюма, и был ошеломлен глубиной и широтой ума хозяина лавки. Он настоятельно рекомендовал Спинозе вступить в его частную академию, чтобы познакомиться с миром нееврейской философии и литературы.

Хотя этот роман является вымыслом, я старался, насколько возможно, придерживаться исторической точности. Но только не в этом эпизоде: дело в том, что Барух Спиноза никогда не работал в семейной лавке. Никакой семейной лавки и *не было*: его семья вела импортно-экспортный бизнес, но не занималась розничной торговлей. Зато в семейной продуктовой лавке работал я сам.

Эта фантазия о признании и спасении живет во мне во множестве форм. Не так давно я был на спектакле по пьесе «Венера в мехах», поставленной Дэвидом Айвзом. Занавес раскрывается, показывая сцену за кулисами: мы видим усталого под конец долгого дня режиссера, который прослушивал актрис на главную роль. Обессиленный и абсолютно неудовлетворенный, он уже готовится уйти, когда на сцену врывается еще одна актриса, чрезвычайно взволнованная и одновременно нахальная. Она опоздала на час. Режиссер говорит ей, что на сегодня пробы закончены, но она умоляет и упрашивает прослушать ее.

Видя, что актриса явно лишена утонченности, плохо образованна и совершенно не подходит для этой роли, он отказывает ей. Но просительница из нее вышла превосходная: она находчива и настойчива – и наконец, чтобы избавиться от нее, режиссер уступает и соглашается на коротенькое прослушивание, во время которого они начинают вместе читать сценарий.

Читая, актриса преображается, ее произношение меняется, речь становится зрелой; она говорит, будто ангел. Режиссер ошеломлен, поражен. Она – как раз то, что он искал. Она даже превзошла его мечты. Возможно ли, чтобы это была та самая растрепанная, вульгарная женщина, которую он впервые увидел всего полчаса назад? Они продолжают читать сценарий. И не останавливаются до тех пор, пока блестяще не отыграют до конца всю пьесу.

В этом спектакле мне понравилось все, но эти первые несколько минут, когда режиссер оценивает истинные качества актрисы, вызвали во мне наиболее глубокий отклик: моя греза о признании была поставлена на сцене, и когда я первым из всего зрительного зала встал, чтобы аплодировать актерам, по лицу моему текли слезы.

## Глава третья

### «Я хочу, чтобы она уехала»

У меня есть пациентка по имени Роуз, которая в последнее время говорила в основном о своих отношениях с дочерью-подростком, ее единственным ребенком. Роуз была близка к тому, чтобы опустить руки, поскольку энтузиазм у дочери вызывали только алкоголь, секс и общество других непутевых подростков.

На терапии Роуз изучала собственные недостатки в роли матери и жены, свои многочисленные измены, уход из семьи ради другого мужчины и возвращение через несколько лет, после того как роман сошел на нет. Роуз была заядлой курильщицей, у нее развилась разрушительная прогрессирующая эмфизема; но, несмотря на это, в последние несколько лет она старательно пыталась загладить свои проступки и заново посвятила себя дочери. Однако ничего не помогало.

Я настоятельно рекомендовал семейную терапию, но дочь отказывалась. И вот Роуз достигла критической точки: каждый приступ кашля и каждый визит к пульмонологу напоминали, что ее дни сочтены. Она жаждала только облегчения. «Я хочу, чтобы она уехала», – твердила она мне.

Роуз считала дни до того момента, когда ее дочь окончит школу и уедет из дома: в колледж, на работу – куда угодно. Ее уже не волновало, какой путь выберет дочь. Снова и снова она шептала себе и мне: «Я хочу, чтобы она уехала».

В своей практике я делаю все возможное, чтобы объединять семьи, исцелять разлад между братьями и сестрами, детьми и родителями. Но работа с Роуз изнурила меня, и я утратил всякую надежду на восстановление мира в этой семье. Во время последних сеансов я пытался представить для Роуз ее будущее, если она разорвет отношения с дочерью. Разве не будет она чувствовать себя виноватой и одинокой? Но все было напрасно, а теперь время истекало: я знал, что жить Роуз осталось недолго.

Направив ее дочь к одному превосходному терапевту, я теперь занимался только самой Роуз и был целиком на ее стороне. Не раз она говорила мне: «Еще три месяца до того, как она окончит школу. А потом ее не будет. Я хочу, чтобы она уехала. Я хочу, чтобы она уехала». Я надеялся, что Роуз дождется исполнения своего желания.

Вечером того же дня, садясь на велосипед, я про себя повторял слова Роуз – «Я хочу, чтобы она уехала. Я хочу, чтобы она уехала...». И вскоре мысли переключились на мою мать, и я увидел мир ее глазами – наверное, впервые в жизни. Я представлял, как она думает и говорит похожие вещи обо мне. И теперь, задумавшись об этом, не мог припомнить никаких терзаний с ее стороны, когда я – наконец-то и навсегда – уехал из дома в медицинскую школу в Бостоне.

Я вспоминал сцену прощания: мать на крыльце дома, машет вслед моему забитому вещами под самую крышу «Шевроле», а потом, когда он скрывается из виду, уходит в дом. Я представлял, как она закрывает входную дверь и глубоко вздыхает. Потом, пару-тройку минут спустя, расправляет плечи, широко улыбается и приглашает отца сплясать с ней торжествующую «Хава нагилу».

Да, у моей матери была веская причина почувствовать облегчение, когда я в свои двадцать два года навсегда уехал из дома. Я был нарушителем спокойствия. У нее никогда не находилось для меня доброго слова, и я платил ей тем же.

Пока я спускаюсь на велосипеде по длинному склону холма, мои мысли уплывают обратно к тому дню, когда мне было четырнадцать, и мой отец, тогда сорокашестилетний, проснулся ночью от острой боли в груди. В те дни врачи приходили к своим пациентам на дом, и мать сразу позвонила нашему семейному врачу, доктору Манчестеру. Посреди ночи мы

втроем – отец, мать и я – в волнении и тревоге ожидали прибытия доктора. (Моя сестра Джин, которая была на семь лет старше меня, уже уехала учиться в колледж.)

Расстраиваясь, моя мать всякий раз скатывалась к примитивному мышлению: если случилось что-то плохое, значит, кто-то должен быть в этом виноват. И этим кем-то оказывался я. Не раз и не два в ту ночь, когда отец корчился от боли, она кричала мне: «Ты, это ты его убил!» Она давала мне понять, что мое непокорство, неуважение, бесконечные нарушения семейных правил – все это довело его.

Годы спустя, когда я, лежа на аналитической кушетке, описал происходившее той ночью, мой рассказ стал причиной редкой краткой вспышки нежности со стороны Олив Смит, моего ультраортодоксального психоаналитика. Она поцокала языком – *ц-ц-ц*, – наклонилась ко мне и проговорила: «Какой кошмар! Я полагаю, это было ужасно для вас!»

Она была суровым аналитиком и преподавателем в учебном заведении с суровыми традициями, где интерпретацию почитали единственным эффективным действием психоаналитика. Из всех ее вдумчивых, тяжеловесных, составленных из тщательно подобранных слов интерпретаций я не помню ни одной. Но единственный раз, когда она посочувствовала мне... этим я дорожу до сих пор, даже теперь, спустя почти шестьдесят лет.

«Ты убил его, ты убил его!» – по-прежнему раздается в моих ушах пронзительный голос матери. Я помню, как съеживался, парализованный страхом и яростью. Мне хотелось крикнуть в ответ: «Он же не умер! Заткнись, дура!» Она то и дело стирала пот с отцовского лба и целовала его в голову, а я сидел на полу, в углу, сжавшись в комок, пока, наконец, около трех часов ночи не услышал, как большой «Бьюик» доктора Манчестера зашуршал осенними листьями на улице. Я помчался вниз, прыгая через три ступеньки, чтобы открыть дверь.



*Маленький Ирвин с матерью и сестрой*

Доктор Манчестер мне очень нравился, и привычный вид его большого круглого улыбающегося лица рассеял мою панику. Он потрепал меня по голове, взъерошив волосы, успокоил мать, сделал отцу укол (вероятно, морфин), приставил к его груди стетоскоп и дал мне послушать, а сам сказал: «Вот видишь, сынок, оно тикает, сильно и размеренно, как часы. Не о чем беспокоиться. С ним все будет в порядке».

В ту ночь я видел, как отец приблизился к порогу смерти, прочувствовал, как никогда прежде, вулканическую ярость матери. И для самозащиты я принял решение навсегда закрыться от нее. Мне нужно было уносить ноги из этого семейства. Следующие два или три года я едва разговаривал с матерью – мы жили, как чужие люди под одной крышей.

А ярче всего мне вспоминается глубокое, всеохватывающее облегчение от прихода доктора Манчестера. Никто и никогда не делал мне такого подарка. Именно в тот момент я решил, что буду как он. Я стану врачом и смогу давать другим то утешение, которое он подарил мне.

Отец постепенно поправился. И хотя после того случая он испытывал боли в груди почти при любом физическом усилии, даже пройдя пешком один-единственный квартал, и тут же хватался за нитроглицерин, он все же прожил еще двадцать три года. Мой отец был мягким, великодушным человеком, и его единственным недостатком, по моему разумению, было отсутствие мужества противостоять моей матери.

Мои отношения с матерью всю жизнь были открытой раной, и все же, как ни парадоксально, именно *ее* образ мелькает в моих мыслях чуть ли не каждый день. Я вижу ее лицо; она никогда не бывает спокойной, никогда не улыбается, никогда не довольна. Она была умна и, хотя трудилась в поте лица всю жизнь, оставалась с ощущением своей полной нереализованности и редко говорила о чем-нибудь хорошем. Но сегодня, во время своей велосипедной прогулки, я думаю о матери по-другому: я думаю, как мало, должно быть, доставлял ей радости, когда мы жили вместе. Я благодарен судьбе за то, что в последующие годы сумел стать более добрым сыном.

## Глава четвертая

### Завершая круг

Время от времени я перечитываю Чарльза Диккенса, который всегда занимал центральное место в моем пантеоне писателей. Не так давно мой взгляд зацепила потрясающая фраза из «Повести о двух городах»: «Когда жизнь подходит к концу, ты словно завершаешь круг и все ближе подвигаешься к началу. Так высшее милосердие сглаживает и облегчает для нас конец нашего земного пути. Все чаще встают теперь передо мной воспоминания, которые, казалось, давным-давно были погребены».

Этот отрывок с необычайной силой берет меня за душу: ныне, действительно приближаясь к концу, я тоже обнаруживаю, что все ближе подвигаюсь к началу. Воспоминания клиентов часто пробуждают мои собственные воспоминания, работа над их будущим перекликается с моим прошлым и тревожит его, и я ловлю себя на пересмотре своей истории.

Мои воспоминания о раннем детстве всегда были отрывочными – как я всегда полагал, из-за безрадостности первых лет моей жизни и нищеты, в которой мы жили. Теперь же, когда мне перевалило за восемьдесят, в мои мысли вторгается все больше и больше образов из раннего детства. Пьяницы, спящие в нашей прихожей, заляпанной рвотой. Мое одиночество и изоляция. Тараканы и крысы. Красномордый парикмахер, называющий меня «еврейчиком». Таинственные, мучительные и неудовлетворенные сексуальные волнения в отрочестве. Лишний. Всегда лишний и неуместный – единственный белый ребенок в негритянском районе, единственный еврей в мире христиан.

Да, прошлое затягивает меня, и я понимаю, что означает слово «сглаживание». Теперь – чаще, чем когда-либо прежде, – я представляю, как покойные родители наблюдают за мной и как огромная гордость и радость согревают их при виде меня, выступающего перед толпой людей. До смерти отца я успел написать всего несколько статей – узкоспециальных статей в медицинских журналах, смысл которых был для него темен. Мать прожила на двадцать пять лет дольше, и хотя скверное знание английского, а потом и слепота не давали ей возможности читать мои книги, она держала их, сложенные стопкой, рядом со своим креслом в доме престарелых, и поглаживала их, и ахала-охала над ними перед своими гостями.

Как много незавершенного осталось между мной и родителями! Мы столько всего не обсудили о нашей совместной жизни, о напряженности и неудовлетворенности в нашей семье, о моем мире и их мире. Когда я думаю об их жизни, представляя, как они прибывают на остров Эллис – без гроша за душой, без образования, не зная ни слова по-английски, – на мои глаза наворачиваются слезы. Мне хочется сказать им: «Я знаю, через что вы прошли. Я знаю, как это было тяжело. Я знаю, что вы сделали для меня. Пожалуйста, простите меня за то, что я так стыдился вас».

Оглядываться на прожитую жизнь с высоты моих «за восемьдесят» страшно, а порой и одиноко. Я не могу полагаться на свою память, а живых свидетелей начала моей жизни осталось раз, два и обчелся. Сестра, которая была на семь лет старше меня, совсем недавно умерла, большинства моих старых друзей и знакомых тоже уже не стало.

Когда мне исполнилось восемьдесят, из прошлого неожиданно донеслось несколько голов, пробудивших воспоминания. Первой была Урсула Томкинс, которая нашла меня через мой сайт в Интернете. Я не вспоминал о ней с тех пор, как мы вместе учились в Вашингтонской начальной школе Гейджа. Вот ее письмо: «Поздравляю с восьмидесятилетием, Ирвин! Я прочла две твои книги, которые мне очень понравились, и попросила работников нашей библиотеки в Атланте достать для меня остальные. Я помню тебя с четвертого класса, когда

мы учились у мисс Фернальд. Не знаю, помнишь ли ты меня... Я была такой пампушечкой с рыжими кудряшками, а ты был красивым мальчиком с угольно-черными волосами!»

Значит, Урсула, которую я прекрасно помнил, считала меня красивым мальчиком с угольно-черными волосами? Меня? Красивым? Если б я только знал! Никогда, ни на миг я не думал о себе как о красивом мальчике. Я был стеснительным, чудаковатым, мне не доставало уверенности, и я помыслить не мог, что кто-то сочтет меня привлекательным. Ах, Урсула, благослови тебя Боже за то, что назвала меня красивым. Но почему, о, почему ты не сказала этого раньше?! Это могло бы изменить все мое детство!



*Отец и мать автора, ок. 1930 г.*

А потом, два года назад, привет из далекого прошлого принес мой автоответчик – это было сообщение, которое начиналось так: «ЭТО ДЖЕРРИ, твой старый приятель-шахматист!» Хотя я не слышал этого голоса семьдесят лет, я узнал его сразу же. Это был Джерри Фридендер, чей отец владел продуктовым магазином на пересечении улиц Ситон и Норт-Кэпитол, всего в одном квартале от магазина моего отца.

В сообщении Джерри поведал мне, что его внучка, которая учится на клинического психолога, читает одну из моих книг. Он напомнил, как мы с ним на протяжении двух лет регулярно играли в шахматы, когда мне было двенадцать, а ему четырнадцать, – в то самое время, которое мне вспоминалось исключительно как голая пустошь неуверенности и сомнений в себе. Поскольку мои воспоминания о тех годах чрезвычайно скудны, я тут же ухватился за возможность получить обратную связь и стал выпрашивать у Джерри любые впечатления, которые остались у него от меня (разумеется, вначале поделившись с ним своими впечатлениями о нем).

– Ты был славным парнем, – ответил Джерри. – Очень спокойным. Помнится, за все время, проведенное вместе, мы с тобой ни разу не поссорились.

– Еще! – с жадностью потребовал я. – Те времена для меня как в тумане.

– Ты порой валял дурака, – продолжил он, – но по большей части был серьезным и прилежным парнишкой. На самом деле, я бы сказал – *очень* прилежным. Когда бы я ни пришел к тебе, ты сидел, зарывшись носом в книжку. О да, это я очень хорошо помню – Ирв и его книги! И ты всегда читал ученые труды и хорошую литературу – намного выше моего понимания. Всякие комиксы для тебя не существовали.

Это было правдой лишь отчасти – на самом-то деле я был ярким поклонником Капитана Марвела, Бэтмена и Зеленого Шершня (но не Супермена: неуязвимость лишала его приключения всякой интриги). Слова Джерри напомнили мне, что в те годы я часто покупал букинистические издания в книжном магазине на Седьмой улице, всего в квартале от библиотеки.

Пока я предавался воспоминаниям, образ огромной, цвета ржавчины, загадочной книги по астрономии всплыл в моем сознании. Большая часть затронутых в ней тем была для меня темным лесом – эта книга отлично служила другой цели: я оставлял ее на виду для симпатичных подружек моей сестры, в надежде вызвать у них восторг своей одаренностью. Они гладили меня по голове, иногда даже обнимали или целовали – и это было очень приятно. Мне и в голову не приходило, что Джерри тоже обратил внимание на эту книгу – и стал нечаянной жертвой моих коварных замыслов.

Джерри рассказал мне, что я, как правило, побеждал в наших шахматных баталиях, но проигрывать красиво не умел: под конец одной надолго затянувшейся партии, когда он выиграл в непростом эндшпиле, я надулся и стал настаивать, чтобы он сыграл с моим отцом. И Джерри сыграл. Он пришел ко мне домой в следующее воскресенье и обыграл отца тоже, хотя был уверен, что папа ему просто поддался.

Этот рассказ ошарашил меня. У меня были хорошие, пусть и не самые близкие, отношения с отцом, но я даже представить себе не мог, что стал бы ждать от него отмщения за мой проигрыш. Он действительно научил меня играть в шахматы, но, если верить моим воспоминаниям, к одиннадцати годам я всегда у него выигрывал и предпочитал более сильных противников, особенно его брата, моего дядю Эйба.

Лишь одно разочаровывало меня в отце, хоть я и не высказывал недовольства вслух: он никогда ни словом не возражал матери. За все годы, когда мать принижала и критиковала меня, отец ни разу не воспротивился этому. Он ни разу не принял мою сторону. Меня расстраивала его пассивность, его немужественность. Поэтому рассказ старого приятеля озадачил меня: как я мог обратиться к отцу с просьбой отыграть за меня с Джерри? Наверное, память меня подводит. Наверное, я гордился им больше, чем мне казалось.

Это предположение еще больше укрепилось, когда Джерри принялся описывать собственную жизненную одиссею. Его отец не был успешным дельцом, и неудачи в бизнесе трижды вынуждали их семью переезжать, всякий раз с ухудшением условий, в менее комфортабельные квартиры. Более того, Джерри приходилось работать после школьных занятий и в летние каникулы. Я осознал, что мне повезло куда больше: хотя я часто работал в отцовском магазине, это никогда не было для меня обязанностью, лишь удовольствием – я чувствовал себя взрослым, обслуживая посетителей, подбивая итоговые счета, принимая деньги и отсчитывая сдачу.

К тому же Джерри работал в летние каникулы, а меня родители посылали в двухмесячные летние лагеря. Я воспринимал свои привилегии как должное, но разговор с Джерри показал, что мой отец многое делал правильно. Очевидно, он был трудолюбивым, разумным бизнесменом. Именно его (и моей матери тоже) усердный труд и деловое чутье облегчили мою жизнь и дали возможность получить образование.

После общения с Джерри стали потихоньку всплывать другие забытые воспоминания об отце. Однажды, дождливым вечером, когда в магазине было полно покупателей, здоровенный, угрожающего вида мужчина схватил ящик спиртного и выбежал на улицу. Мой отец, ни секунды не колеблясь, погнался за ним, оставив нас с матерью одних в магазине, наводненном покупателями. Четверть часа спустя он вернулся, неся похищенный ящик: через пару-тройку кварталов вор притомился, бросил добычу и был таков.

Со стороны отца это был храбрый поступок. Я не уверен, что у меня хватило бы духу на такую погоню. Я *должен был* гордиться отцом – как могло быть иначе? Но, как ни странно, я не позволял себе помнить об этом. Я вообще когда-либо пытался по-настоящему понять, какой была его жизнь?..

Я знаю, что отец начинал работать в пять утра, закупая продукты на юго-восточном оптовом рынке Вашингтона, и закрывал магазин в десять вечера по будням и в полночь по пятницам и субботам. Единственным его выходным было воскресенье. Я порой сопровождал его на продуктовый рынок, и это была тяжелая, изматывающая работа. Однако я ни разу не слышал от него жалоб.

Помню, как разговаривал с человеком, которого я называл «дядей Сэмом». Это был лучший друг моего отца еще с детства, которое они вместе провели в России (я называл дядями и тетями всех взрослых, одновременно с моими родителями эмигрировавших из Сельца<sup>4</sup>, еврейского местечка в России). Сэм рассказал мне, что в те времена мой отец часами просиживал на крохотном неотапливаемом чердаке в своем доме и писал стихи.

---

<sup>4</sup> Предположительно, это село на территории Белоруссии, неподалеку от города Пружаны, где родилась мать автора. С 1921 года Селец входил в состав Польши, с 1939 – в состав Белоруссии. – *Прим. науч. ред.*



*Отец Ялома в своем продуктовом магазине, ок. 1930 г.*

Но отцовским поэтическим устремлениям пришел конец, когда его еще подростком призвали в российскую армию во время Первой мировой войны и отправили на строительство железнодорожных путей. После войны он с помощью старшего брата, Мейера, перебрался в Соединенные Штаты. Мейер эмигрировал раньше и открыл маленький продуктовый магазинчик на улице Вольта в Джорджтауне. За ним последовали сестра Ханна и младший брат Эйб.

Эйб приехал один в 1937 году и планировал отослать деньги на переезд своей семье, но опоздал: нацисты убили всех оставшихся, включая старшую сестру моего отца с двумя детьми, жену Эйба и четверых их детей. Но обо всем этом мой отец хранил гробовое молчание; ни разу он не заговорил со мной ни о Холокосте, ни о чем-либо другом, связанном с его прежней родиной.

Его стихи тоже остались в прошлом. Я никогда не видел, чтобы он писал. Я никогда не видел его за книгой. Я никогда не видел, чтобы он читал хоть что-нибудь, кроме ежедневной еврейской газеты, которую он хватал в руки сразу, как только ее доставляли, и бегло просматривал. Только теперь я понимаю, что он искал в ней хоть какие-нибудь сведения о родственниках и друзьях.

О Холокосте он упомянул лишь один раз. Когда мне было почти двадцать лет, мы с ним отправились вместе обедать – вдвоем. Это был редчайший случай: хоть отец и продал к тому времени свой магазин, его по-прежнему трудно было выманить куда-то без матери. Он никогда не начинал разговор сам, никогда задавал мне вопросов. Может быть, он неуютно чувствовал себя со мной, хотя вовсе не страдал застенчивостью или замкнутостью в своей мужской компании – я с удовольствием смотрел, как он смеется вместе с друзьями и рассказывает анекдоты во время игры в пинокль<sup>5</sup>.

<sup>5</sup> Популярная в Америке карточная игра. – Прим. перев.

Наверно, можно сказать, что мы оба подвели друг друга: отец никогда не расспрашивал о моей жизни или работе, а я никогда не говорил ему, что люблю его. Мы проговорили с ним – серьезно, как взрослые люди – около часа, и это было замечательно. Помню, как спросил его, верит ли он в Бога, и он ответил: «Как можно верить в Бога после Шоа?»<sup>6</sup>



---

<sup>6</sup> Бедствие, катастрофа (иврит) – так евреи называют Холокост. – *Прим. перев.*

*Ирвин с отцом, ок. 1936 г.*

Я знаю, что сейчас – потому что лучше поздно, чем никогда, – пришло время простить его за молчание, за то, что он был иммигрантом, за недостаток образованности и невнимание к повседневным горестям, с которыми сталкивался его единственный сын. Пора положить конец моему стыду за его невежество. Пора вспомнить его красивое лицо, мягкость, вежливые беседы с друзьями; его мелодичный голос, поющий песни на идише, которые он выучил в детстве, проведенном в еврейском местечке; его смех, когда он играл в пинокль с братом и друзьями; вспомнить, как изящно он плавал в волнах у пляжа Бэй-Ридж; как нежно любил свою сестру Ханну, мою обожаемую тетю.

## Глава пятая

### Библиотека от А до Я

Много-много лет, вплоть до выхода на пенсию, я курсировал на велосипеде между своим домом и Стэнфордом, не раз останавливаясь по дороге, чтобы полюбоваться роденовскими «Гражданами Кале» или сверкающими мозаиками на часовне, возвышающейся над Квадратом<sup>7</sup>, или порыться на полках книжного магазина в кампусе. Даже выйдя на пенсию, я продолжал ездить по Пало-Альто на велосипеде, то по делам, то навещая друзей. Но в последнее время я утратил доверие к своей способности держать равновесие, поэтому избегаю езды по дорогам в потоке транспорта и ограничиваюсь тридцати-сорокаминутными прогулками на закате по специальным велосипедным тропинкам.

Хотя мои маршруты изменились, езда на велосипеде по-прежнему дарит мне ощущение свободы и способствует погружению в размышления. И в последнее время ощущения плавного, быстрого движения и ветерка, овевающего лицо, неизменно уносят меня в прошлое.

Если не считать страстного десятилетнего романа с мотоциклами, завершившегося, когда мне еще не было сорока, я оставался верен велосипеду с тех пор, как мне исполнилось двенадцать. Тогда, после долгой и трудной кампании упрашиваний и уговоров, родители сдались и купили мне на день рождения ярко-красный «Америкэн Флаер».

---

<sup>7</sup> Главный комплекс зданий Стэнфордского университета. – *Прим. перев.*



*Ялом в возрасте 10 лет*

Настойчивости в просьбах мне было не занимать, и уже в раннем детстве я открыл супер-эффективный метод, который никогда не давал осечек: надо было просто создать связь между желанным для меня объектом и образованием. Мои родители обычно жалели денег на легкомысленную ерунду, но когда речь шла о чем-то, хотя бы отдаленно связанном с образованием – о ручках, бумаге, логарифмических линейках (помните такие?) и книгах, *особенно* книгах, – щедрости им было не занимать. Поэтому, когда я сказал, что хочу пользоваться велосипедом, чтобы почаще бывать в огромной центральной библиотеке Вашингтона на углу улиц Седьмой и Кей, они не смогли мне отказать.

Я соблюдал свою часть договора: каждую субботу неукоснительно заполнял дерматиновые седельные сумки велосипеда шестью книгами (таков был библиотечный лимит), которые успел «проглотить» с прошлой субботы, и отбывал в сорокаминутный путь за новыми.

Библиотека стала моим вторым домом, и по субботам я пропадал в ней часами. Эти долгие послеполуденные часы служили двойной цели: библиотека связывала меня с большим миром, к которому я всей душой стремился, – миром истории, культуры и идей. И в то же время утихомиривала тревоги родителей и дарила им радость от мысли, что они произвели на свет ученого.

Кроме того, с их точки зрения, чем больше времени я проводил за чтением в четырех стенах, тем лучше: наш район считался – и был – опасным. Отцовский магазин и наша квартира на втором этаже располагались в бедняцком районе расово сегрегированного Вашингтона, в нескольких кварталах от границы белого района. На улицах кипело насилие, воровство, расовые стычки и пьянство (значительную часть «топлива» для которого и поставлял магазин моего отца). Родителям хватало мудрости на время летних каникул отсылать меня, начиная с семилетнего возраста, в летние лагеря в Мэриленде, Вирджинии, Пенсильвании или Нью-Гэмпшире, тем самым держа подальше от небезопасных улиц и одновременно освобождаясь от забот (за немалые деньги).

Гигантский холл на первом этаже библиотеки вызывал у меня такое благоговение, что я осмеливался ходить по нему только на цыпочках. В самом центре первого этажа стоял массивный книжный шкаф, в котором выстроились биографии – в алфавитном порядке согласно тематике. Много раз обойдя его по кругу, я набрался храбрости обратиться к чопорной библиотечкарше за указаниями. Не говоря ни слова, та жестом велела мне вести себя тихо, прижав палец к губам, и указала на огромную мраморную винтовую лестницу, ведущую в отдел детской литературы на втором этаже, где мне, по ее мнению, было самое место.

Расстроенный, я послушался, но все же при каждом посещении библиотеки продолжал поедать глазами шкаф с биографиями и в какой-то момент разработал план: я буду читать по одной биографии в неделю, начиная с первого человека, чья фамилия начинается с буквы *A*, и двигаться дальше по алфавиту.

Я начал с Генри Армстронга, чемпиона 1930-х годов по боксу в легком весе. Из буквы *B* мне запал в память Хуан Бельмонте, талантливый матадор начала XIX века, и Фрэнсис Бэкон, ученый эпохи Возрождения. На *K* был Тай Кобб<sup>8</sup>, на *Э* – Томас Эдисон, *Г* запомнилась Лу Геригом<sup>9</sup> и Гетти Грин («ведьмой с Уолл-стрит») и так далее. Под буквой *D* я обнаружил Эдварда Дженнера, который стал моим кумиром за то, что изничтожил оспу. В букве *Ч* я встретился с Чингисханом и не одну неделю пытался прикинуть: Дженнер спас больше жизней – или Чингисхан уничтожил? Буква *K* приютила также Поля де Крюи с его «Охотниками на микробов», вдохновившими меня прочесть множество книг о микроскопическом мире; в следующем году я работал по выходным продавцом лимонада в «Народной аптеке» и накопил достаточную сумму, чтобы купить полированный медный микроскоп, с которым не расстанусь и по сей день. Благодаря букве *H* я познакомился с трубачом Редом Николсом, а также со странным чудачком по имени Фридрих Ницше. *П* привела меня к св. Павлу и Сэму Пэтчу, первому человеку, которому удалось спуститься по Ниагарскому водопаду и остаться в живых.

Помнится, я завершил свой биографический проект на букве *T*, под которой обнаружил Альберта Пейсона Терхьюна. В последующие недели я отклонился от основного курса, поглощая его многочисленные книги о таких выдающихся колли, как Лэд и Лесси<sup>10</sup>. Сегодня я понимаю, что мне ничуть не повредил этот бессистемный подход к чтению, ничуть не повредило

---

<sup>8</sup> Профессиональный бейсболист. – Прим. перев.

<sup>9</sup> Еще один профессиональный игрок в бейсбол. – Прим. перев.

<sup>10</sup> На самом деле «Лесси» написал другой автор – Эрик Найт. – Прим. перев.

то, что я был единственным десяти- или одиннадцатилетним ребенком на свете, который знал так много о Гетти Грин или Сэме Пэгче. Но все же сколько времени было потрачено зря! Мне отчаянно нужен был какой-то взрослый, классический американский наставник, кто-то похожий на человека в полотняном костюме в полоску, который вошел бы в продуктовый магазин моего отца и объявил, что я – многообещающий парнишка.

Теперь, когда я оглядываюсь назад, меня охватывают щемящая нежность к этому одинокому, напуганному, решительному мальчишке – и благоговение перед ним, каким-то образом пробившим себе дорогу путем самообразования, пусть и беспорядочного, не видевшим ни поощрения, ни жизненных примеров, ни руководства.

## Глава шестая

### Религиозная война

Сестру Мириам, католическую монахиню, направил ко мне ее исповедник, брат Альфред. Много лет назад он сам был моим клиентом, проходя терапию после смерти своего отца-тирана. Брат Альфред написал мне записку:

*Дорогой доктор Ялом (простите, но я по-прежнему не могу называть вас Ирвом – для этого потребовался бы еще год терапии, а то и два)! Надеюсь, что вы сможете принять сестру Мириам. Она – любящая, щедрая душа, но сталкивается с множеством препятствий на пути к безмятежности.*

Сестра Мириам оказалась привлекательной, приятной в общении, но несколько приунывшей женщиной средних лет, в одежде которой не было ни единого намека на ее жизненное призвание. Открытая и прямолинейная, она перешла к своим проблемам быстро и без смущения. Всю свою церковную карьеру она получала немалое удовлетворение от благотворительной работы с бедняками, но благодаря остроте ума и способностям к руководству ее назначали на все более и более высокие административные посты в ордене. Хотя она показала себя весьма эффективно и на этих должностях, качество ее жизни ухудшилось. У нее оставалось мало времени на собственные молитвы и медитации, и теперь ей почти ежедневно приходилось конфликтовать с другими администраторами, добивавшимися большей власти. Из-за ярости, которую они вызывали в ней, она чувствовала себя запятанной.

Сестра Мириам понравилась мне с самого начала. Мы встречались еженедельно, и мое уважение к ней росло и росло. Эта женщина в большей степени, чем любой из знакомых мне людей, посвятила свою жизнь служению. Я решил сделать все, что в моих силах, чтобы помочь ей.

Сестра Мириам была женщиной выдающегося ума и необыкновенной преданности. Она ни разу не спросила о моих религиозных убеждениях и после нескольких месяцев терапии прониклась ко мне достаточным доверием, чтобы принести на сеанс свой личный дневник и зачитать вслух несколько абзацев. Она признавалась в своем глубоком одиночестве, ощущении собственной неуклюжести и зависти к другим сестрам, которым Бог даровал красоту и изящество. Читая о своих сожалениях обо всем, от чего она отказалась – брак, сексуальная жизнь, материнство, – сестра Мириам разрыдалась. У меня пронеслась мысль о драгоценных узлах, связывающих меня с женой и детьми; я ощущал боль сестры Мириам и глубоко сочувствовал ей.

Она быстро взяла себя в руки и вознесла благодарность за присутствие Иисуса в ее жизни. Она с ностальгической грустью говорила о своих ежеутренних беседах с ним, которые дарили ей силы и утешение с тех пор, как она подростком пришла в монастырь. В последнее время многочисленные административные обязанности сделали эти утренние медитации слишком редким благом, и ей очень их не хватало. Мне хотелось позаботиться о сестре Мириам, я был полон решимости помочь ей восстановить утреннее общение с Иисусом.

Однажды после очередного нашего сеанса, двигаясь по дорожке на велосипеде, я осознал, как жестко заглушал собственный религиозный скептицизм во время бесед с сестрой Мириам. Никогда прежде я не сталкивался с такой жертвенностью и преданностью. Хотя я тоже почитал свои занятия психотерапией как служение моим пациентам, мне было ясно, что мое даяние несравнимо с тем, как отдает всю себя сестра Мириам; я служил другим по собственному расписанию и получал за это плату. Как ей удалось воспитать в себе такое бескорыстие?

Я задумался о первых годах ее жизни, о начале ее личностного развития. Родители сестры Мириам бедствовали после того, как авария в угольной шахте сделала ее отца инвалидом. Они

отправили дочь в монастырскую школу в возрасте четырнадцати лет и почти не навещали. Ее жизнь с этого момента и далее была подчинена молитвам, тщательному изучению Библии и катехизиса – утром, днем и вечером. Драгоценные минуты для игр, веселья или общения выдавались редко, и, разумеется, ни о каких контактах с мужчинами не было и речи.

После наших с сестрой Мириам сеансов я нередко размышлял о том, как рухнуло мое собственное религиозное образование. В мое время юноши-евреи в Вашингтоне воспитывались в доктринерском, свойственном Старому Свету духе, который мне сегодняшнему кажется чуть ли не специально придуманным, чтобы отвратить нас от религиозной жизни. Насколько мне известно, ни один из моих сверстников не сохранил никаких религиозных чувств.

Мои родители были этническими евреями – они говорили на идише, скрупулезно соблюдали правила кашрута, держали четырнадцать наборов столовой посуды в кухне (для молочных и мясных блюд в течение всего года плюс специальные наборы для Пасхи), соблюдали Великие праздники (Рош ха-Шана и Йом-Кипур) и были пламенными сионистами. Они, их родственники и друзья образовали тесный кружок и почти никогда не заводили дружбы с неевреями и даже не пытались слиться с остальной Америкой.

Однако, несмотря на их сильную еврейскую идентичность, я почти не видел проявлений подлинного интереса к религии. Если не считать обязательного посещения синагоги по Великим праздникам, поста на Йом-Кипур и отказа от дрожжевого хлеба во время Пасхи, никто из них не воспринимал религию всерьез. Никто не соблюдал ритуала ежедневной молитвы, не возлагал тфилин<sup>11</sup>, не читал Библию и не зажигал свечей в шаббат.

Большинство этих семей вели мелкий бизнес, держа в основном бакалейные или винные лавочки или гастрономы, которые закрывались лишь по воскресеньям и в Рождество, Новый год и главные еврейские праздники. В моем сознании ярко отпечаталась сцена в синагоге на один из Великих праздников: все мужчины – друзья и родственники моего отца – сидели рядом на первом этаже, а женщины, включая мою сестру и мать, – на втором. Помню, как я сидел рядом с отцом и играл бахромой его бело-голубой накидки. Я вдыхал запах шариков от моли, исходивший от редко надеваемого костюма для Великих праздников, прислонясь к его плечу. А отец указывал мне слова на иврите, которые читал кантор или раввин.

Поскольку для меня они были набором бессмысленных слогов, я старательно вглядывался в английский перевод, напечатанный на соседней странице. Он изобилует описаниями яростных битв и чудес и утомительно бесконечными прославлениями Бога. Ни одна строка этих текстов никак не соотносилась с моей собственной жизнью. Отсидев приличествующее время рядом с отцом, я пулей вылетал на улицу, в маленький дворик, где собирались все дети, чтобы поболтать, поиграть и пококетничать между собой.

Вот и все мое религиозное воспитание в детстве. Для меня так и осталось загадкой, почему мои родители никогда, ни единого разу, не учили меня читать на иврите и не рассказывали о еврейских религиозных доктринах.

Но когда приблизились мой тринадцатый день рождения и бар-мицва, положение изменилось, и меня послали в воскресную религиозную школу. Там я был нетипично для себя буен на занятиях и постоянно задавал непочтительные вопросы, например: «Если Адам и Ева были первыми людьми, с кем тогда заключали браки их дети?» или «Если правило не употреблять в пищу молоко вместе с мясом было направлено на исключение мерзости варить теленка в молоке матери его, тогда, равви, почему мы должны распространять это правило на кур? В конце концов, – надоедливо напоминал я всем, – куры молока не дают!» Дело кончилось тем, что раввин устал от меня и выгнал из школы.

Но это был еще не конец. От бар-мицвы ведь отделаться невозможно. Родители послали меня к частному наставнику – мистеру Дармштадту, обладателю прямой осанки, полного

---

<sup>11</sup> Элемент молитвенного облачения иудея. – Прим. перев.

достоинства и терпения. На бар-мицве главная задача, с которой сталкивается любой тринадцатилетний мальчик, – перед всей синагогой прочесть вслух на иврите *гафтару* (избранный отрывок из книги Пророков) для этой недели.

В моей работе с мистером Дармштадтом возникла серьезная проблема: я не мог (или не желал) учить иврит! Во всех прочих предметах я был прекрасным учеником, всегда первым в своем классе, но тут вдруг заделался полным тупицей: не мог запомнить ни букв, ни звуков, ни мелодики чтения. Наконец многотерпеливый мистер Дармштадт, вконец замучившись, сдался и сообщил моему отцу, что решить эту задачу невозможно: я никогда не выучу свою гафтару. Поэтому на моей церемонии бар-мицвы вместо меня гафтару читал мой дядя Эйб, брат отца. Раввин просил меня прочесть хотя бы пару строк благословения на иврите, но на репетиции стало очевидно, что я не могу выучить даже их. И на церемонии он, смирившись, держал передо мной карточки с подсказками, чтобы я прочел слова на иврите, записанные английскими буквами.

Должно быть, для моих родителей это стало днем великого позора. А как могло быть иначе? Но я не помню ничего, выдававшего их стыд, – ни одного образа, ни единого слова, которым обменялись бы со мной мать или отец. Надеюсь, их разочарование смягчила та превосходная речь (на английском), с которой их сын выступил на вечернем праздничном ужине.

В последнее время, пересматривая свою жизнь, я часто гадаю: почему мою гафтару прочел дядя, а не отец? Отца одолевал стыд? Жаль, я не могу задать ему этот вопрос. А что же моя работа с мистером Дармштадтом, длившаяся несколько месяцев? У меня почти что полная амнезия в отношении этих уроков. Зато я прекрасно помню свой ритуал – выходить из троллейбуса за одну остановку до его дома, чтобы перекусить гамбургером из киоска «Литл Таверн». Так называлась сеть уличных закусовых в Вашингтоне: у каждого киоска зеленая черепичная крыша, три бургера за двадцать пять центов. То, что эти бургеры были запретным плодом, делало их еще вкуснее: это был первый *трейф* (некошерный продукт), который я ел в своей жизни!

Если бы сегодня ко мне обратился за психологической помощью подросток вроде юного Ирвина, в самый разгар кризиса идентичности, и сказал мне, что не может выучить какие-то слова на иврите (хотя во всем прочем отличник), и что его исключили из религиозной школы (хотя в другое время у него не было серьезных проблем с поведением), и, более того, что он впервые отведал некошерной еды по пути к дому своего учителя иврита, тогда, полагаю, наша с ним консультация протекала бы примерно так.

**Доктор Ялом:** Ирвин, все, что ты рассказываешь о бар-мицве, заставляет меня задуматься, не восстаешь ли ты бессознательно против родителей и своей культуры. Ты говоришь, что ты отличник, всегда первый ученик в классе, – и все же в этот значительный момент, тот самый момент, когда ты вот-вот будешь готов занять свое место в мире как взрослый еврей, у тебя вдруг развивается псевдослабоумие и ты не можешь научиться читать слова на другом языке.

**Ирвин:** При всем моем уважении, доктор Ялом, я не согласен: это *более чем* объяснимо. То, что мне плохо даются языки, это факт. То, что я никогда не был способен выучить другой язык и сомневаюсь, что когда-нибудь выучу, это тоже факт. То, что я учусь в школе на одни пятерки по всем предметам, за исключением четверки по латыни и тройки по немецкому, это факт. И, кроме того, факт, что мне медведь на ухо наступил и я не способен спеть ни одну мелодию. Когда наш класс поет хором, учителя музыки настоятельно просят меня *не* петь, а только тихонько мычать. Всем моим друзьям это известно, и они знают, что я ни за что не смог бы пропеть строки гафтары или выучить другой язык.

**Доктор Ялом:** Но, Ирвин, позволь мне напомнить тебе: речь не шла о том, чтобы *выучить* другой язык. Наверное, меньше пяти процентов американских мальчиков-евреев понимают текст, который читают во время бар-мицвы. Твоя задача была *не в том*, чтобы заговорить на иврите, и *не в том*, чтобы понимать иврит; твоей единственной задачей было усвоить несколько звуков и прочесть вслух пару страниц. Неужели это настолько трудно? Это задача, с которой каждый год успешно справляются тысячи тринадцатилетних мальчиков. И позволь заметить, многие из них отнюдь не отличники, а хорошисты, троечники, а то и вовсе двоечники. Нет, повторяю я, это не случай острого очагового слабоумия: я уверен, существует объяснение получше. Расскажи мне подробнее о своих чувствах, связанных с еврейством, твоей семьей и культурой.

**Ирвин:** Я не знаю, с чего начать.

**Доктор Ялом:** Просто высказывай вслух свои мысли о том, что такое быть евреем в тринадцать лет. Отключи цензуру – просто произноси мысли вслух по мере того, как они возникают в твоём сознании. Психотерапевты называют это *свободными ассоциациями*.

**Ирвин:** Свободные ассоциации, ишь ты... Просто думать вслух? Ого! Ладно, попробую. Быть евреем... богоизбранный народ... по мне, так это просто шутка – *избранный*? Нет, совсем наоборот... На мой взгляд, в том, чтобы быть евреем, нет ни единого преимущества... Постоянные антисемитские замечания... Даже мистер Тернер, белобрысый красномордый цирюльник, чья парикмахерская всего в трех магазинах от лавки моего отца, называет меня «еврейчиком», когда стрижет... Анк, учитель физкультуры, вопит: «Шевелись, еврейчик!», когда я безуспешно пытаюсь взобраться по канату. А стыдобища в Рождество, когда другие дети в школе хвастаются своими подарками? Я был единственным еврейским ребенком в своем классе в начальной школе и поэтому регулярно лгал, что тоже получаю подарки. Я знаю, мои кузины, Беа и Айрин, рассказывают одноклассникам, что их подарки на Хануку – это рождественские подарки, но мои родители слишком заняты в магазине и никаких подарков в Хануку не дарят. И еще они косо смотрят на то, что у меня есть друзья-неевреи, и в особенности – темнокожие ребята, которых родители не разрешают приводить к нам домой, хотя я регулярно бываю у них в гостях.

**Доктор Ялом:** Итак, мне кажется очевидным, что ты больше всего на свете желаешь уйти из этой культуры, и твой отказ учить иврит для бар-мицвы, и то, что ты ешь *трейф* по дороге на уроки иврита, – все это говорит об одном и том же, и говорит громко: «Пожалуйста, пожалуйста, кто-нибудь! Заберите меня отсюда!»

**Ирвин:** С этим трудно спорить. И мои родители, должно быть, чувствуют, что перед ними стоит ужасная дилемма. Они хотят для меня чего-то иного и лучшего. Они хотят, чтобы я добился успеха во внешнем мире, но в то же время боятся конца мира собственного.

**Доктор Ялом:** Они когда-нибудь говорили тебе об этом?

**Ирвин:** Не прямым текстом, но признаки этого есть. Например, они говорят на идише друг с другом, но не со мной и не с моей сестрой. С нами они разговаривают на этакой смеси ломаного английского с идишем (мы называем ее «идглишем»), но явно не хотят, чтобы мы учили идиш. Кроме того, они не рассказывают о своей жизни на прежней родине. Я почти

ничего не знаю о том, как они жили в России. Когда я пытаюсь выяснить точное расположение их дома, мой отец, обладающий замечательным чувством юмора, шутит, что они жили в России, но иногда, когда им нестерпимо было думать об очередной суровой русской зиме, называли свою страну Польшей. А что насчет Второй мировой войны, нацистов и Холокоста? Ни словечка! Их уста навеки запечатаны. И тот же заговор молчания царит в семьях моих друзей-евреев.

**Доктор Ялом:** Как ты это объясняешь?

**Ирвин:** Наверное, они хотят избавить нас от ужасов. Я помню послепобедные выпуски новостей в кинотеатрах, где показывали лагеря и горы трупов, которые сгребали бульдозерами. Я был в шоке – я был совершенно не готов к такому и, боюсь, никогда не смогу забыть это зрелище.

**Доктор Ялом:** Ты знаешь, чего родители хотят для тебя?

**Ирвин:** Да – чтобы я получил образование и был американцем. Они мало знают об этом новом мире. Когда они прибыли в Соединенные Штаты, у них не было никакого официального образования – я имею в виду, никакого вообще... если не считать обязательных курсов для тех, кто хочет стать гражданами США. Как и большинство известных мне евреев, они – «люди книги», и я полагаю... нет, *знаю*, что они радуются всякий раз, видя меня за книгой. Они никогда не мешают мне, когда я читаю. Однако я не вижу у них никаких признаков желания просвещаться самим. Думаю, родители понимают, что эта возможность для них упущена – настолько они задавлены тяжким трудом. Каждый вечер они с ног валяются от усталости. Должно быть, это вызывает у них смешанные чувства: они усердно трудятся, чтобы я мог получить такую роскошь, как образование, но при этом не могут не понимать, что каждая книга, каждая прочитанная мною страница уводят меня все дальше и дальше от них.

**Доктор Ялом:** Я все думаю о том, как ты ел эти гамбургеры из «Литл Таверн»... Это был первый шаг. Как звук рожка, возвещающий начало долгой кампании.

**Ирвин:** Да, я развязал долгую войну за независимость, и все ее первые стычки были вокруг еды. Еще до бар-мицвы я высмеивал ортодоксальные правила потребления пищи. Эти правила – просто анекдот какой-то: они бессмысленны и, более того, отсекают меня от остальных американцев. Когда я иду на бейсбольный матч «Вашингтон Сенаторз» (стадион «Гриффит» находится всего в паре кварталов от магазина моего отца), я, в отличие от друзей, не могу съесть хот-дог. Запрещены даже яичный салат или сэндвич с запеченным сыром, потому что, как объясняет мой отец, нож, которым режут сэндвич, мог использоваться для нарезки сэндвича с ветчиной. Тогда я возражаю: «А я попрошу, чтобы его не резали». «Нет! Подумай о тарелке, на которую могли класть ветчину, – говорят мне отец или мать. – *Трейф*, все это *трейф*». Можете представить себе, доктор Ялом, каково слышать это, когда тебе тринадцать? Безумие! Вселенная огромна – триллионы звезд, рождающихся и умирающих, природные катастрофы, случающиеся на земле каждую минуту, – а мои родители утверждают, что Богу больше нечем заняться, кроме как проверять ножи в закусочной на наличие молекул ветчины?!

**Доктор Ялом:** Ты серьезно? Ты действительно так мыслишь в столь юном возрасте?

**Ирвин:** Всегда! Я интересуюсь астрономией, я сам собрал телескоп, и всякий раз, когда я гляжу в небо, меня просто потрясает, насколько крохотны и незначительны мы в этом великом порядке вещей. Мне кажется очевидным, что древние пытались справиться с чувством собственной незначительности, изобретая какого-то бога, который считал нас, людей, столь важными птицами, что ему понадобилось уделять все свое внимание надзору за каждым нашим поступком. А еще мне кажется очевидным, что мы пытаемся смягчить сам факт смертности, изобретая небеса и другие фантазии со сказками, у которых есть одна общая тема – «мы не умираем», мы продолжаем существовать, переходя в иную реальность.

**Доктор Ялом:** У тебя действительно возникают такие мысли в твоём возрасте?

**Ирвин:** У меня они возникают столько, сколько я себя помню. Я держу их при себе. Но, говоря начистоту и строго между нами, я считаю религии и идеи о жизни после смерти самым затянувшимся мошенничеством в мире. Оно служит определенной цели – обеспечивает религиозным вождям комфортную жизнь и смягчает страх человечества перед смертью. Но какой ценой! Это делает нас инфантильными, мешает разглядеть естественный порядок вещей.

**Доктор Ялом:** Мошенничество? Какое резкое суждение! Почему ты так стремишься оскорбить несколько миллиардов людей?

**Ирвин:** Эй-эй, вы же сами просили меня свободно ассоциировать! Помните? Обычно я держу все это при себе.

**Доктор Ялом:** Совершенно верно. Я действительно просил тебя об этом, ты сделал, как я сказал, а теперь я тебя за это же шпыняю. Приношу свои извинения. И позволь спросить тебя о кое-чем еще. Ты говоришь о страхе смерти и жизни после смерти. Мне интересны твои личные переживания, связанные со смертью.

**Ирвин:** Первое воспоминание – смерть моей кошки. Мне тогда было лет десять. Мы всегда держали в магазине пару кошек, чтобы они ловили мышей и крыс, и я часто играл с ними. И вот одну из них, мою любимицу – забыл, как ее звали, – сбила машина. Я нашел ее у обочины; она еще дышала. Я побежал в магазин, добыл из ларя с мясом (мой отец был заодно и мясником) кусок печенки, отрезал маленький ломтик и поднес его прямо к мордочке кошки. Печенка была ее любимой едой. Но она не стала есть, и вскоре ее глаза закрылись навсегда. Знаете, мне стыдно, что я забыл ее имя и называю просто «кошкой», ведь мы вместе провели немало замечательных часов, когда она сидела у меня на коленях, громко мурлыча, а я поглаживал ее, читая книгу.

Если говорить о смерти человека... В третьем классе начальной школы вместе со мной учился один мальчик. Я не помню его имени, но, кажется, мы звали его по инициалам – Эл-И. У него были белые волосы – наверное, он был альбиносом, – и его мать давала ему с собой в школу необычные бутерброды, например, с сыром и маринованным огурцом. Я никогда прежде не слышал, что в бутерброды можно класть маринованные огурцы. Так странно, что некоторые случайные вещи столь глубоко западают в память!

Однажды Эл-И не пришел в школу, а на следующий день учительница объявила, что он заболел и умер. Вот и все. Я не припоминаю никакой конкретной реакции – ни своей, ни кого-либо из моих одноклассников. Но во всем этом есть один необычный момент: лицо Эл-И отчетливо запечатлелось

в моей памяти. Я до сих пор могу его ясно представить: это удивленное выражение лица, белесые волосы, стоящие торчком из-за короткой стрижки...

**Доктор Ялом:** И это необычно – потому что...

**Ирвин:** Необычно, что его образ остался таким четким. Это странно, потому что я не слишком близко его знал. Кажется, он учился в моем классе всего год. Более того, он чем-то болел, и мать сама возила его в школу и из школы, так что мы никогда не играли и не возвращались домой вместе. В классе было много других детей, которых я знал гораздо лучше, однако их лиц я совершенно не помню.

**Доктор Ялом:** И это означает, что...

**Ирвин:** Это, очевидно, означает, что смерть привлекла мое внимание, но я предпочел не думать о ней напрямую.

**Доктор Ялом:** Случались ли моменты, когда ты все же думал о ней *напрямую*?

**Ирвин:** Это довольно туманное воспоминание. Я помню, как однажды бродил по своему району, наигравшись на пинбольном автомате в дешевом магазинчике. И на меня – буквально как гром среди ясного неба – обрушилась мысль, что я тоже умру, как и все остальные, ныне живущие или жившие когда-то. Это единственное, что я помню – помимо того, что этот момент стал для меня первым осознанием собственной смертности. А еще я не мог подолгу думать об этом и, разумеется, никогда ни с кем об этом не говорил. До этого нашего разговора.

**Доктор Ялом:** Почему «разумеется»?

**Ирвин:** Моя жизнь – это жизнь очень замкнутого человека. Я ни с кем не могу поделиться такими мыслями.

**Доктор Ялом:** Означает ли замкнутость одиночество?

**Ирвин:** О да!

**Доктор Ялом:** Что приходит тебе на ум, когда ты думаешь об «одиночестве»?

**Ирвин:** Я представляю, как еду на велосипеде по старому Солджерс Хоум. Это был такой большой парк, примерно в десяти кварталах от отцовского магазина...

**Доктор Ялом:** Ты всегда говоришь «отцовский магазин», а не «мой дом».

**Ирвин:** Да, это вы хорошо подметили, доктор Ялом! Я тоже только что обратил на это внимание. Мне ужасно стыдно за свой дом... Мне приходит на ум... Я ведь по-прежнему свободно ассоциирую, верно?

**Доктор Ялом:** Верно. Продолжай.

**Ирвин:** На ум сразу приходит субботний вечер и празднование дня рождения, на которое меня пригласили, когда мне было одиннадцать или двенадцать лет, в очень богатом доме – я такие видел только в голливудских фильмах, а больше нигде. Это был дом девочки по имени Джуди Стейнберг, с которой я познакомился и в которую влюбился в летнем лагере, – кажется, мы даже целовались. Мать отвезла меня в гости, но приехать и забрать не смогла, потому что в магазине вечером шла самая горячая торговля. Так что после вечеринки Джуди с матерью повезли меня домой. Я ощущал беспросветное унижение при мысли, что они увидят нашу халупу! Поэтому я попросил их высадить меня раньше, за несколько домов от моего, у скромного, но более приличного коттеджа, и притворился, что живу в нем. Я стоял на крыльце и

махал им, пока они не уехали. Но сомневаюсь, что мне удалось их обмануть. При одной мысли об этом меня передергивает.

**Доктор Ялом:** Давай вернемся к тому, что ты говорил раньше. Расскажи мне подробнее о своих одиноких велосипедных прогулках в парке Солджер Хоум.

**Ирвин:** Это был чудесный парк, занимавший несколько сотен акров и почти пустой, если не считать нескольких домов для больных или престарелых ветеранов. Я считаю эти велосипедные прогулки своими лучшими детскими воспоминаниями... Я лечу вниз с пологих длинных холмов, ветер бьет в лицо, я чувствую себя свободным и декламирую вслух стихи. Моя сестра выбрала в колледже курс викторианской поэзии. Когда она его окончила, я взял у нее учебник и перечитывал его снова и снова, запоминая простые стихи с сильным ритмом – например, «Балладу Редингской тюрьмы» Оскара Уайльда; некоторые стихи из сборника «Шропширский парень» Хаусмена – «О вишня, всех дерев милей...» и «Двадцатилетний и одинокий»; кое-что из фицджеральдовских переводов Омара Хайяма; «Шильонский узник» Байрона и стихи Теннисона. Одной из моих любимых была баллада «Ганга Дин» Киплинга. Я до сих пор храню фонографическую запись этого стихотворения, которую сделал в маленькой студии звукозаписи неподалеку от бейсбольного стадиона, когда мне было тринадцать. На одной ее стороне была записана моя речь для бар-мицвы (естественно, на английском), а на обороте я декламировал «Ганга Дин» и «Атаку легкой бригады» Теннисона. Да, чем больше я об этом думаю, тем больше убеждаюсь, что эти моменты, когда я несся с холма под певучие строки стихов, были для меня самыми счастливыми.

**Доктор Ялом:** Наше время почти истекло, но прежде чем мы прервемся, позволь мне сказать, что я оценил масштаб трудностей, с которыми ты сталкиваешься. Ты застрял между двумя мирами: ты не знаешь и не уважаешь прежний мир, но пока еще не видишь врат нового. Это порождает сильную тревожность, и тебе понадобится длительная психотерапия, чтобы с ней справиться. Я рад, что ты решил прийти повидаться со мной, – ты небезнадежен, и у меня есть предчувствие, что с тобой все будет в порядке.

## Глава седьмая

### Игрок

Восемь часов. Утро среды. Я позавтракал и иду по дорожке через сад к своему кабинету, останавливаясь ненадолго, чтобы поздороваться с бонсаем и выдернуть пару сорняков. Я знаю, что эти травки тоже имеют право на существование, но не могу позволить им пить воду, которая нужна бонсаю. Я очень доволен – у меня впереди четыре часа, которые я безраздельно посвящу писательству. Я горю нетерпением приступить к работе, но, как всегда, не могу удержаться и проверяю электронную почту, обещая себе, что потрачу на ответы не более тридцати минут. Первое сообщение приветствует меня.

*Напоминание: СЕГОДНЯ ИГРА у меня дома. Двери открываются в 6:15. Вас ждет пре-восходное угощение. Есть придется быстро – игра начинается ровно в 6:45. Тащите чемодан денег! Кеван*

Первый порыв – сразу удалить письмо, но я останавливаю себя и пытаюсь прочувствовать пронзающую меня тоску. Я начал играть в покер более сорока лет назад, но больше играть не могу, поскольку непоправимо ухудшившееся зрение делает игру слишком дорогостоящей: неверное распознавание карт каждый раз обходится мне как минимум в одну-две крупные ставки. Я долго упорствовал, не желая отказываться от покера. *Старение – это когда сдаешь одну чертову позицию за другой.* Я не играю уже около четырех лет, но приятели продолжают присылать мне приглашения в знак любезности.

Я отказался и от тенниса, и от бега трусцой, и от плавания с аквалангом, но отказ от покера – это совсем другое дело. Прочие занятия в большей степени являются «сольными», в то время как покер – социальное времяпрепровождение: эти милые люди были моими товарищами по играм, и я очень по ним скучаю. О, конечно, время от времени мы собираемся вместе на обед (бросаем монетки или наскоро играем один круг покера за ресторанным столиком, чтобы решить, кто оплатит счет), но это не то же самое: мне не хватает драйва, ощущения риска.

Я всегда обожал трепет, вызываемый азартными играми, но теперь все, что мне осталось, – это подбивать на пари свою жену. Пари насчет совершенно дурацких вещей: к примеру, она хочет, чтобы я надел на званый вечер галстук, а я отвечаю: «Спорим на двадцать долларов, что сегодня на вечеринке не будет ни одного мужчины в галстук?» В прошлом жена не обращала внимания на мои подначки, но с тех пор, как я перестал играть в покер, она время от времени подыгрывает мне, соглашаясь побиться об заклад.

Такие игры давно стали частью моей жизни. Насколько давно? Телефонный разговор, случившийся пару лет назад, принес кое-какие ответы. Это был Шелли Фишер, с которым я учился до пятого класса и с тех пор не разговаривал. У Шелли есть внучатая племянница. Она учится на психолога, и недавно, во время ее приезда в гости, Шелли увидел, что она читает одну из моих книг, «Дар психотерапии». «Эй, да я же знаком с этим парнем!» – воскликнул он.

Он нашел номер моей сестры в телефонном справочнике Вашингтона и позвонил ей, чтобы попросить мой номер. Мы с Шелли долго беседовали, предаваясь воспоминаниям, как каждый день вместе ходили в школу, как играли в боулинг, в карты и степбол, как собирали бейсбольные карточки.

На следующий день Шел снова позвонил мне: «Ирв, вчера ты говорил, что тебе нужна обратная связь. Так вот, я только что вспомнил еще одну вещь о тебе: у тебя была проблема с

азартными играми. Ты заставлял меня играть в кункен<sup>12</sup> с бейсбольными карточками в качестве ставок. Ты хотел заключать пари буквально на все: помню, как-то раз тебе вздумалось биться о заклад по поводу цвета следующей машины, которая проедет по улице. И я помню, с каким азартом ты играл в нелегальную лотерею»<sup>13</sup>.

«Играл в нелегальную лотерею» – много лет я и не думал об этом. Слова Шелли разбудили старинное воспоминание. Когда мне было одиннадцать-двенадцать, отец превратил свою продуктовую лавку в магазин спиртных напитков, и жизнь моих родителей стала чуточку легче: больше не нужно было выбрасывать испортившиеся продукты, ездить в пять утра на оптовый продуктовый рынок, разделять говяжьи туши. Но жизнь стала и более опасной: ограбления в наших местах были не такой уж редкостью, и по субботним вечерам в подсобке нашего магазина прятался вооруженный охранник. Днем магазин наводняли весьма одиозные персонажи: среди наших постоянных покупателей были сутенеры, проститутки, воры, просто любители выпить и горькие пьяницы, букмекеры и сборщики ставок в нелегальных лотереях.

Как-то раз я помогал отцу отнести заказ – несколько ящиков скотча и бурбона – в машину Дюка. Дюк был одним из наших лучших покупателей, и я восхищался его стилем: трость с набалдашником из слоновой кости, изысканное голубое двубортное пальто из кашемира, голубая мягкая фетровая шляпа в тон и сверкающий белый «Кадиллак» длиной в милю. Когда мы добрались до машины, припаркованной в переулке в полуквартале от магазина, я спросил, следует ли мне поставить ящик в багажник, и отец с Дюком хмыкнули в ответ.

«Дюк, а не показать ли ему твой багажник?» – предложил отец. Дюк милостиво открыл багажник «Кадиллака» и сказал: «Здесь не так уж много места, сынок!» Я заглянул внутрь, и глаза у меня полезли на лоб. Семьдесят лет спустя я по-прежнему ясно вижу эту сцену: багажник был доверху забит стопками наличных – банкнот всевозможных номиналов, перевязанных толстыми резинками, а несколько больших брезентовых мешков распирало от монет, пересыпавшихся через край.

Дюк занимался нелегальной лотереей. Вот как это было устроено: каждый день игроки в моем районе делали ставки (часто совсем маленькие – десять центов) на трехзначное число у своих «жучков». Если они угадывали верно, то «попадали в масть, черт возьми», и им выплачивали шестьдесят долларов на десятицентовую ставку – шанс составлял 1 к 600. Но, разумеется, реальный шанс составлял 1 к 1000, так что букмекеры гребли прибыли лопатой. Этим ежедневно обновлявшимся числом нельзя было манипулировать, оно выводилось по известной всем формуле, основанной на общей сумме, которую поставили на трех избранных забегах на местных скачках. Хотя очевидно, что шансы были против игроков, существовали и два момента в их пользу: маленькие суммы ставок и неумиряющая надежда на внезапную улыбку фортуны. Эта надежда слегка облегчала постоянное отчаяние этих людей, вызванное нищетой.

Мне было знакомо это ежедневное будоражащее предвкушение, потому что время от времени я делал небольшие ставки (вопреки родительским увещаниям). Я тратил на них пяти- или десятицентовики, которые иногда таскал из кассы магазина (воспоминание об этом мелком воровстве даже сейчас заставляет меня съеживаться со стыда). Мой отец неоднократно говорил, что только дураки стали бы ставить с такими шансами. Я понимал, что он прав, но тогда это была единственная азартная игра в городе.

Я делал ставки через Уильяма, одного из двух афроамериканцев, работавших в отцовском магазине, и всегда обещал ему 25 процентов от своих выигрышей. Уильям был конченным алкоголиком, но при этом живым, очаровательным человеком, хотя до образца честности ему было далеко. И я так и не узнал, действительно ли он делал ставки от меня; вполне возможно,

---

<sup>12</sup> Азартная карточная игра, возникшая в Греции. – *Прим. науч. ред.*

<sup>13</sup> Азартная игра, распространенная в основном в бедных районах США. В ней требовалось угадать три цифры, которые будут случайным образом выбраны и объявлены на следующий день. – *Прим. науч. ред.*

он просто прикарманивал мои медяки или делал ставки от своего имени. Число я не угадал ни разу – и, подозреваю, даже если бы угадал, Уильям наверняка обжулил бы меня, наврав, что наш «жучок» в тот день не пришел, или сплетя какую-нибудь похожую историю. С лотереей было покончено, когда мне посчастливилось открыть для себя бейсбольный тотализатор, кости, пинокль и, самое главное, покер.

## Глава восьмая

### Краткая история гнева

Моя пациентка Бренда явилась на сегодняшний сеанс с заранее продуманной программой. Даже не взглянув на меня, она вошла в кабинет, села, раскрыла сумочку, вынула из нее свои заметки и начала зачитывать вслух заявление, в котором были перечислены жалобы на мое поведение во время нашей предыдущей встречи:

– Вы сказали, что я плохо работаю на наших сеансах и что другие ваши пациенты приходят лучше подготовленными к разговору о проблемах. Вы подразумевали, что вам гораздо больше нравится работать с другими вашими пациентами. И вы отругали меня за то, что я не рассказываю о своих снах и фантазиях. Вы приняли сторону моего прежнего терапевта и сказали, что все мои прошлые опыты терапии кончились неудачей из-за моего отказа раскрыться...

Весь предыдущий сеанс Бренда просидела молча (как нередко с ней случалось) и не проявляла инициативы, вынуждая меня вкалывать до седьмого пота: у меня было чувство, будто я пытаюсь вскрыть устрицу. На этот раз, слушая, как она зачитывает список обвинений, я настраивался защищаться. Умение управляться с гневом – не самая сильная моя черта. Меня тянуло указать Бренде на явные искажения в ее заявлении, но по ряду причин я придержал язык.

Прежде всего, это было весьма благоприятное начало сессии – намного более благоприятное, чем на прошлой неделе! Она раскрывалась, высвобождая мысли и чувства, которые прежде делали ее такой зажатой. И еще, хоть Бренда и искажала мои слова, я знал, что действительно *думал* кое-что из того, что она приписывала мне как высказанное вслух. Очень вероятно, эти мысли незаметно для меня самого окрасили мои слова.

– Бренда, я понимаю ваше раздражение. Кажется, вы немного неверно цитируете мои слова, но вы совершенно правы в главном: на прошлой неделе я действительно был расстроен и несколько обескуражен, – сказал я, а затем спросил: – Если у нас в будущем случится похожий сеанс, что вы посоветуете мне сделать? Какой наилучший вопрос я мог бы задать?

– Почему бы вам просто не спросить меня, что такого случилось на прошлой неделе, из-за чего у меня так скверно на душе? – отозвалась она.

Я последовал ее предложению и задал этот вопрос:

– Что случилось за истекшую неделю, от чего у вас так скверно на душе?

Это привело к продуктивной дискуссии о разочарованиях и обидах, которые Бренда пережила за последние несколько дней. Ближе к концу часа я вернулся к началу сеанса и спросил, как ей было, когда она так сильно на меня разозлилась. Бренда в ответ расплакалась, выражая благодарность за то, что я воспринял ее чувства всерьез, не стал отказываться от своей ответственности за их возникновение, и за то, что я трачу на нее свое время. Думаю, мы оба чувствовали, что вошли в новую фазу терапии.

Позже, когда я ехал на велосипеде к своему дому, эта сессия заставила меня задуматься о гневe. Несмотря на удовлетворенность тем, как мне удалось справиться с ситуацией, я знал, что мне еще предстоит большая личная работа в этой области. Я знал, что мне было бы гораздо более дискомфортно, если бы я не испытывал такую сильную симпатию к Бренде и не был уверен, что ей трудно меня критиковать. Кроме того, я не сомневался, что ощутил бы куда большую угрозу себе, будь моим пациентом разгневанный мужчина.

Мне всегда было нелегко в ситуации конфронтации, как личной, так и профессиональной. И я старательно избегал любых административных постов, не позволяющих от нее уклониться, – например, должностей председателя, главы комитета или декана. Лишь однажды, через пару лет после окончания ординатуры, я согласился на собеседование на председатель-

скую должность – в моей альма-матер, Университете Джонса Хопкинса. К счастью – для меня и для университета, – на этот пост выбрали другого претендента. Я всегда говорил себе, что уклонение от административных постов было мудрым шагом, поскольку мои истинные сильные стороны лежат в области клинических исследований, практики и литературных трудов. Но должен признать, что моя боязнь конфликтов и общая стеснительность сыграли в этом важную роль.

Моя жена знает, что я предпочитаю небольшие компании – из четырех, самое большее шести человек, – и она находит забавным, что я стал специалистом в групповой психотерапии. На самом же деле мой опыт ведения групп оказался терапевтическим не только для моих пациентов, но и для меня самого: благодаря ему мое ощущение комфорта в группах значительно укрепилось, и долгое время я почти не чувствовал тревоги, выступая перед большими аудиториями. Но, с другой стороны, такие выступления всегда проходят на моих условиях: я предпочитаю не участвовать в спонтанных публичных дебатах, потому что в таких ситуациях не отличаюсь быстротой мышления. Одно из преимуществ старости – почтительное отношение аудитории: уже много лет – да что там, десятилетий! – ни коллеги, ни дотошные слушатели из зала не говорили мне ничего провокационного.

Я останавливаюсь минут на десять, чтобы понаблюдать за тренировкой теннисной команды школы Ганна, мысленно возвращаясь к тем дням, когда я сам тренировался в теннисной команде школы Рузвельта. Я был шестым номером в команде из шести игроков, хотя играл гораздо лучше, чем Нельсон, – пятый номер. Однако всякий раз, когда нас ставили друг против друга, он подавлял меня своей агрессивностью и ругательствами, а главное – своей манерой в решающий момент прервать игру и замереть на несколько секунд, произнося молитву. Тренер не считал нужным меня поддержать и велел «взрослеть и справиться».

Я продолжаю путь, думая о своих пациентах, – адвокатах и генеральных директорах, для которых конфликт – лучший путь к успеху, и только дивлюсь их всегдашней готовности к бою. Я никогда не понимал, как им удалось стать такими, – равно как и того, почему я сам так стараюсь избегать конфликтов. Вспоминаю задир из начальной школы, которые грозились поколотить меня после занятий. Вспоминаю, как читал рассказы о мальчиках, чьи отцы учили их боксу, и как мне отчаянно хотелось, чтобы у меня тоже был такой отец.

Я жил в те времена, когда евреи никогда не дрались, зато их поколачивали все, кому не лень. Единственным исключением был Билли Конн, боксер-еврей, – и я потерял кучу денег, поставив на него, когда он вышел против Джо Луиса. А потом, много лет спустя, я узнал, что он, оказывается, не был евреем.

Самозащита была серьезной проблемой в первые четырнадцать лет моей жизни. Мы жили в неблагополучном районе, где было небезопасно удаляться даже на небольшое расстояние от дома. Три раза в неделю я ходил в кинотеатр «Сильван», расположенный совсем рядом, – за углом от нашего магазина. Поскольку в каждом сеансе показывали по два фильма, я смотрел по шесть фильмов в неделю. Обычно это были вестерны или документальные ленты о Второй мировой войне. Мои родители без колебаний отпускали меня, полагая, что в кинотеатре мне ничто не грозит. Думаю, у них становилось легче на душе, пока я был в библиотеке, в кино или сидел дома за книгой: хотя бы на эти пятнадцать-двадцать часов в неделю я был избавлен от опасностей.

Но угроза существовала всегда. Мне было около одиннадцати, и однажды, когда я субботним вечером работал в магазине, мать попросила меня принести ей рожок кофейного мороженого из аптеки через четыре дома от нашего по той же улице. В соседнем доме была китайская прачечная, потом парикмахерская с выставленными в витрине пожелтевшими фотографиями разных типов стрижек, затем крохотная, забитая всякой всячиной скобяная лавка, и, наконец, аптека. Там помимо лекарств была маленькая, на восемь табуретов, закусочная-стойка, с которой торговали сэндвичами и мороженым. Я взял кофейный рожок, уплатил десять центов

(рожок с одним шариком стоил пять, но мать всегда предпочитала двойную порцию) и вышел на улицу. Там меня тут же окружили четверо грозных на вид белых подростков на год-два старше меня. Приход компании белых парней в наш «черный» район был явлением необычным, рискованным и, как правило, сулившим неприятности.

– Ну и кому же это мы несем мороженое? – злобно рыкнул один из них, пацан с маленькими тусклыми глазками, жестким лицом, стрижкой ежиком и красной банданой на шее.

– Моей матери, – промямлил я, исподтишка оглядываясь по сторонам в поисках путей отступления.

– Ах, для мамочки? А сам попробовать не хочешь? – фыркнул он, схватил меня за руку и ткнул рожком мне в лицо.

Как раз в этот момент группа темнокожих ребят, моих друзей, появилась из-за угла и двинулась к нам по улице. Они увидели, что происходит, и окружили нас. Один из них, Леон, наклонился ко мне и сказал:

– Ирв, чего ты терпишь этого козла, ты его одной левой сделаешь. – А потом шепнул: – Давай, тот апперкот, который я тебе показывал.

Как раз в этот миг я услышал гулкие торопливые шаги и увидел отца и Уильяма, рассыльного из магазина, которые бежали к нам по улице. Отец схватил меня за руку и потащил прочь, в безопасную гавань «Блумингдейл-Маркета».

Разумеется, мой отец поступил правильно. Для собственного сына я сделал бы то же самое. Ни один отец не пожелает своему ребенку оказаться в центре межрасовой уличной драки. И все же я часто вспоминаю об этом «спасении» с сожалением. Лучше бы я подрался с тем парнем и продемонстрировал ему свой жалкий апперкот. Я никогда прежде не противостоял агрессорам – и тогда, в окружении друзей, которые защитили бы меня, это была идеальная возможность. Тот парень был примерно моих габаритов, хоть и чуть старше, и я бы стал намного лучше относиться к себе, если бы обменялся с ним ударами. Да и каким мог быть наихудший исход этого приключения? Разбитый нос, синяк под глазом – небольшая цена за то, чтобы в кои-то веки занять решительную позицию и не отступить.

Я знаю, что паттерны поведения взрослого человека сложны и никогда не определяются единичным событием, и все же упорно верю, что моя неловкость в те моменты, когда приходится иметь дело с открытым гневом, моя склонность избегать любых конфронтаций, даже горячих споров, мое нежелание соглашаться на административные посты, влекущие за собой конфликты, – все было бы иначе, если бы мой отец и Уильям не выволокли меня из той стычки много лет назад. Но при этом я понимаю, что рос в атмосфере страха: железные решетки на окнах магазина, опасности со всех сторон и довлевшая над всеми нами история геноцида евреев в Европе... Бегство было единственной стратегией, которой обучил меня отец.

Пока я описываю этот случай, в моем сознании всплывает другая сцена: мы с матерью собрались в кино и вошли в «Сильван», как раз когда фильм уже начинался. Мать редко ходила со мной в кино, тем более – посреди воскресного дня, но она обожала Фреда Астера и часто смотрела фильмы с ним. Совместный поход в кино не доставлял мне радости, поскольку мать вела себя невоспитанно, часто невежливо, и я никогда не знал, чего от нее ждать. Мне было стыдно перед друзьями за нее.

В кинозале мать заметила два места в центральном ряду и плюхнулась на одно из них. Парень, сидевший рядом с одним из этих свободных мест, сказал ей:

– Эй, леди, у меня здесь друг сидит.

– Ой, фу-ты ну-ты, скажите, пожалуйста! У него здесь друг сидит! – громко фыркнула она, так что услышали все, сидевшие поблизости.

Я пытался стать невидимкой, натягивая ворот рубашки на голову и прикрывая лицо. Тут пришел товарищ этого парня, и они оба, ругаясь и бормоча себе под нос угрозы, перебрались

на боковой ряд. Вскоре после начала фильма я искоса бросил на них взгляд, и этот парень поймал его, показал мне кулак и одними губами произнес: «Я еще до тебя доберусь».

Это как раз и был тот мальчишка, который размазал мне по лицу купленное для матери мороженое. Поскольку ей он отомстить не мог, он запомнил меня и долго ждал своего часа, пока не подловил меня на улице одного. Известие, что тот рожок предназначался для моей матери, удвоило его удовольствие: он сумел достать нас обоих одним ударом!

Все это звучит вполне правдоподобно и годится для связного сюжетного повествования. Насколько же сильно в нас побуждение завершать гештальты и складывать гладко звучащие истории! Но правдив ли этот рассказ? Спустя семьдесят лет у меня нет никакой надежды раскопать «реальные» факты, но, возможно, сила моих переживаний в эти моменты, желание драться и напавший на меня паралич – все это каким-то образом связало их воедино. Правда ли это? Увы, я теперь уже не уверен, был ли это и вправду тот самый мальчик и верно ли я выстроил временную последовательность: насколько я понимаю, инцидент с мороженым вполне мог предшествовать случаю в кино...

По мере того как я старею, становится все труднее проверять ответы на такие вопросы. Я пытаюсь восстановить фрагменты моей юности, но когда обращаюсь за подтверждением к сестре, кузенам и друзьям, меня потрясает то, насколько по-разному мы все это помним. И в своей повседневной работе, помогая пациентам реконструировать ранние годы их жизни, я все больше убеждаюсь, сколь хрупка и изменчива природа реальности. Мемуары – без сомнения, это касается и данных мемуаров – являются вымыслом в гораздо большей степени, чем нам хочется думать.

## Глава девятая

### Красный стол

Мой кабинет представляет собой студию, расположенную примерно в сорока пяти метрах от дома, но оба эти здания настолько утопают в листве, что из окон одного почти не видно другое. Я провожу большую часть своего дня в кабинете, все утро пишу, а после полудня принимаю пациентов. Когда мне не сидится на месте, я выхожу наружу и ухаживаю за бонсаями, подрезая их, поливая, любуясь грациозными формами и размышляя, о чем бы спросить Кристину, специалистку по бонсаям и близкую подругу моей дочери, живущую в квартале от нас.

После вечерней прогулки на велосипеде или пешком с Мэрилин мы проводим остаток вечера в библиотеке – читаем, беседуем или смотрим какое-нибудь кино. В этой комнате большие угловые окна, она выходит на террасу из красного дерева в деревенском стиле, с садовой мебелью и большой купальней, тоже из красного дерева, окруженной вечнозелеными калифорнийскими дубами.

Вдоль стен библиотеки выстроились сотни книг, а меблирована она в непринужденном калифорнийском стиле, с кожаным креслом-реклайнером и диваном в красно-белом чехле. В одном углу, составляя резкий контраст всему остальному, стоит кричаще красный стол моей матери (подделка под барокко, с четырьмя гнутыми, черными с золотом ножками), а вокруг него – дополняющие комплект четыре стула с красными кожаными сиденьями. За этим столом я играю в шахматы и другие настольные игры со своими детьми, так же как семьдесят лет назад по воскресным утрам играл в шахматы со своим отцом.

Мэрилин не любит этот стол, не сочетающийся ни с одним предметом в нашем доме, и с удовольствием избавилась бы от него. Но она давным-давно отказалась от борьбы. Она знает, что стол много для меня значит, и согласилась оставить его в библиотеке, но с условием, что он будет отправлен в вечную ссылку в дальний угол. Этот стол связан с одним из наиболее значимых событий в моей жизни, и всякий раз, как я гляжу на него, меня охватывают ностальгия, ужас и чувство освобождения.

Мои ранние годы делятся на две части: до и после моего четырнадцатого дня рождения. До своих четырнадцати лет я жил с матерью, отцом и сестрой в маленькой дешевой квартирке над нашим продуктовым магазином. Она находилась прямо над торговым залом, но вход в нее располагался снаружи магазина, сразу за углом. Там была передняя, в которую угольщик регулярно сгружал уголь, поэтому дверь не запиралась. В холода в ней нередко можно было наткнуться на одного-двух алкоголиков, спящих прямо на полу.



*Вход в семейную квартиру над продуктовым магазином, ок. 1943 г.*

На втором этаже были двери, ведущие в две квартиры; нашей была та, что выходила окнами на Первую улицу. У нас было две спальни – одна для родителей, другая для сестры. Я спал в маленькой столовой на диване, который можно было раскладывать в кровать. Когда мне было десять лет, сестра поступила в колледж и уехала, и я занял ее спальню. У нас была маленькая кухонька с крохотным столиком, за которым я всегда ел. За все свое детство я никогда, ни разу не трапезничал с матерью или отцом (не считая воскресений, когда мы ужинали вместе со всей нашей многочисленной родней – тогда за стол садились от двенадцати до двадцати человек). Мать готовила еду и оставляла на плите, а мы с сестрой съедали ее за маленьким кухонным столом.

Мои приятели обитали в таких же жилищах, так что мне никогда и в голову не приходило желать лучшей квартиры, но у нашей была одна ужасная особенность – тараканы. Они кишели повсюду, несмотря на усилия службы по уничтожению насекомых. Я боялся их до ужаса и боюсь по сей день. Каждый вечер мать ставила ножки моей кровати в миски, наполненные водой, а иногда и керосином, чтобы не дать мерзким тварям забраться в постель. Но они все равно нередко оказывались в ней, падая с потолка. По ночам, стоило только выключить свет, как дом безраздельно переходил в их владение, и я слышал, как они носятся по крытому линолеумом полу нашей крохотной кухоньки.

Я не осмеливался по ночам дойти до туалета и пользовался вместо этого кувшином, который ставил у кровати. Помнится, однажды, когда мне было лет десять-одиннадцать, я сидел в гостиной и читал книжку, и тут гигантский таракан пролетел через всю комнату и шлепнулся ко мне на колени (да, тараканы *способны* летать – они не так часто это делают, но, несомненно, умеют!). Я закричал, отец прибежал на помощь, сбил таракана на пол и наступил на него. Зрелище раздавленного таракана меня доконало, и я, едва сдерживая рвоту, помчался в туалет. Отец пытался успокоить меня, но никак не мог понять, как можно так расстраиваться из-за дохлого насекомого. (Моя фобия тараканов никуда не делась, просто перешла в дремлющее состояние, хотя уже давно не актуальна: в Пало-Альто слишком сухой климат для тараканов, и я не видел ни одного вот уже полвека – это одно из великих преимуществ жизни в Калифорнии.)

А потом однажды, когда мне было четырнадцать, мать обмолвилась – почти что между делом, – что купила дом и что очень скоро мы переезжаем. Следующее, что я помню, – это как вошел в наше новое жилище на чудесной тихой улице всего в квартале от парка Рок-Крик. Это был красивый просторный дом с тремя спальнями, кухней и гостиной. Полуподвал, простецки отделанный сосновыми досками, был задуман как домашний спортзал. На верхнем уровне была крытая веранда, отделенная от прилегающей комнаты дверью с забранной сеткой от насекомых секцией. Завершала картину прилегающая к дому небольшая огороженная забором лужайка. Этот переезд мать задумала и осуществила практически в одиночку: она купила этот дом, а отец даже ни разу не взял выходной в магазине, чтобы посмотреть его.

Когда мы переехали? Видел ли я грузчиков, таскавших вещи? Каким было мое первое впечатление от этого дома? Какой была моя первая ночь там? Что насчет сильнейшего удовольствия от того, что я навеки распрощался с населенной тараканами жалкой халупой, со стыдом и грязью, нищетой и алкоголиками, спавшими прямо у нас в передней? Я *наверняка* испытал все эти чувства, но помню очень мало. Возможно, меня слишком занимали тревоги и заботы, вызванные переходом в девятый класс в новой школе и приобретением новых друзей.

Отношения между памятью и эмоциями извилисты: слишком мало или слишком много эмоций часто ослабляют память. Я действительно помню, как в восхищении бродил по нашему чистому дому и нашему чистому дворику. *Наверное*, я с гордостью приглашал к себе домой друзей; *наверное*, я ощущал большой покой, стал меньше бояться, лучше спать; но все это – лишь предположения. Отчетливее всего мне запомнилась из этого периода история, которую с гордостью пересказывала мать, – история покупки красного стола.

Она решила купить все новое и ничего не брать из нашей старой квартиры: ни мебель, ни постельное белье – ничего, за исключением своих кастрюль (которыми я пользуюсь по сей день). Должно быть, она тоже была сыта по горло нашим образом жизни, хотя никогда не разговаривала со мной о своих мечтах и чувствах. Зато мать не раз пересказывала мне историю этого стола.

После покупки дома она отправилась в универмаг Мейзора – популярный мебельный магазин, в котором отоваривались все ее подруги, – и за один-единственный день заказала там все необходимое для переезда в дом с тремя спальнями, включая ковры, мебель во все комнаты и на веранду и садовые кресла. Должно быть, это был огромный заказ, и как раз когда продавец подбивал итог, матери попался на глаза броский карточный стол в стиле необарокко с ярко-красной кожаной обивкой столешницы и четырьмя красными кожаными стульями в комплекте. Она велела продавцу добавить к заказу стол и стулья. Но продавец сказал, что этот набор уже продан и что, увы, к его большому сожалению, других таких нет – эта модель снята с производства. После чего мать приказала ему отменить весь заказ, подхватила свою сумочку и собралась уходить.

Возможно, она в самом деле была готова уйти. А может быть, и нет. Как бы то ни было, ее прием сработал. Продавец пошел на попятный, и вожаемый стол стал ее собственностью. Снимаю шляпу, мама, перед этим отважным блефом! Я немало играл в покер, но это был лучший блеф, о каком я когда-либо слышал. Меня забавляла мысль написать рассказ от лица семейства, которое этот стол *не* получило. В этой задумке определенно была изюминка: я рассказал бы эту историю с обеих точек зрения, описав, с одной стороны, великолепный блеф матери и ее триумф, а с другой – разочарование тех, других людей, лишившихся заказа.

Я не расстался с этим столом несмотря на все жалобы жены, что он не сочетается ни с чем другим в нашем доме. Хотя его эстетические недостатки очевидны даже мне, этот стол – вместилище воспоминаний о моих воскресных шахматных играх с отцом и дядьями, а потом с детьми и внуками.

В старших классах школы я играл в шахматной команде и с гордостью носил спортивный свитер, на котором красовалась большая шахматная фигура. Наша команда, состоявшая из

пяти человек, соревновалась со всеми школьными командами Вашингтона. Я играл на первой доске и после выпускного года, который прошел для меня без единого поражения; я считал себя чемпионом Вашингтона среди юниоров. Но я так и не довел свою игру до более высокого уровня – отчасти из-за дяди Эйба, который только презрительно фыркнул на идею домашних заготовок, особенно шахматных дебютов.

Помню, как он указывал на мою голову, объявляя, что я *klug* (умный) и должен использовать свою ясную яломовскую *kopf* (голову) и играть оригинально, чтобы сбивать с толку противника. Трудно было придумать более неудачный совет! Я перестал играть в шахматы, пока учился в колледже до поступления в медицинскую школу, но на следующий же день после зачисления попытал счастья в университетской шахматной команде. Играл на второй доске до конца семестра, а потом, когда начались занятия в школе, снова отказался от шахмат – до тех пор, пока не начал учить этой игре своих сыновей, Виктора и Рида. Они стали превосходными игроками.

Только в последние несколько лет я стал серьезнее относиться к шахматам: начал брать уроки игры у русского гроссмейстера и увидел, как растет мой интернет-рейтинг. Но, боюсь, это случилось слишком поздно: моя угасающая память – непобедимый противник.

Будь на то воля отца, мы бы, наверное, так и остались жить над магазином. Казалось, он был совершенно равнодушен к окружающей обстановке. Все, что он носил, покупала мать; она же говорила ему, что надеть, вплоть до галстука для нашего воскресного «выхода в свет».

У отца был хороший голос, и я любил слушать, как на семейных сборищах он поет песни на идише дуэтом с моей тетей Любой. Мать была равнодушна к музыке, и я ни разу не слышал, чтобы она спела хоть строчку, – должно быть, этот ген она передала и мне. Утром по воскресеньям мы с отцом почти всегда играли в шахматы за этим красным псевдобарочным столом, он ставил на фонограф песни на идише и подпевал им, пока мать не начинала кричать: «*Genug, Barel, genug!*» (Хватит, Бен, хватит!) И отец всегда повиновался.

В эти моменты я чувствовал особенно сильное разочарование в нем и от души желал, чтобы он хоть разок настоял на своем и возразил матери. Но этого ни разу не случилось.

Моя мать вкусно готовила, и я часто вспоминаю ее блюда. И по сей день я часто пытаюсь воспроизвести их, пользуясь ее тяжелыми алюминиевыми кастрюлями. Я очень привязан к этой посуде. Когда я в ней готовлю, еда получается вкуснее. Мои дети так и норовят прибрать ее к рукам, но я не отдаю.



*Мать и отец автора перед своим домом на Блэгден-Террас*

Когда мы переехали в новый дом, мать каждый день готовила ужин, потом садилась в машину и уезжала в магазин (дорога занимала двадцать минут), где проводила остаток дня и вечер. Я разогревал еду и ел в одиночестве за книгой. (Моя сестра Джин в то время уже начала учиться в Мэрилендском университете.) Отец приходил домой поесть и вздремнуть, но время наших трапез редко совпадало.

Блэгден-Террас, наша новая улица, была обсажена высокими платанами, дома на ней стояли просторные и красивые, а в домах было полным-полно детей моего возраста. Я помню, как меня встретили в мой первый день на новом месте. Дети, игравшие на улице в тачбол, замахали мне руками – им нужны были еще игроки, – и я с ходу влился в игру.

Вечером того же дня прямо через улицу от нас, на передней лужайке перед соседским домом, я увидел тринадцатилетнего Билли Нолана, который играл в мяч со своим дедом. Дед его, как мне довелось позднее узнать, некогда был питчером команды «Бостон Ред Сокс». Мы с Билли потом много играли в бейсбол.

Я также помню свою первую прогулку по кварталу. Я заметил в одном дворе прудик с несколькими водяными лилиями – и это привело меня в восторг, поскольку я знал, что в такой воде найдется немало отличных проб для моего микроскопа. На поверхности плавают стаи личинок moskitov, а с нижней стороны листьев лилий можно соскрести полчища амёб. Но как собрать образцы? В своем прежнем районе я бы прокрался в этот двор ночью и попросту стащил бы пару-тройку никому не нужных созданий из пруда. Но как вести себя здесь, я не имел ни малейшего представления.

Блэгден-Террас и ее окрестности выглядели настоящей идиллией. Ни грязи, ни опасностей, ни преступности – и ни одного антисемитского комментария. Мой кузен Джей, который всю жизнь был моим самым близким другом, тоже переехал в этот район, в дом в четырех

кварталах от нашего, и мы часто виделись. Всего в двух кварталах от нашего дома был Рок-Крик-Парк с ручьем, пешеходными тропами, бейсбольными полями и теннисными кортами. Почти каждый день после школы мы с соседскими детьми устраивали игры с мячом, длившиеся до самой темноты.

Прощайте, крысы! Прощайте, тараканы, преступления, опасности и антисемитские угрозы! Теперь моя жизнь изменится навсегда. Я иногда приезжал в отцовский магазин, чтобы помочь, когда не хватало рабочих рук, но большую часть времени проводил вдали от этого отвратительного места. И мне больше никогда не приходилось лгать о том, где я живу. Ах, если бы только Джуди Стейнберг, моя подруга из летнего лагеря, могла увидеть мой новый дом!

## Глава десятая

### Знакомство с Мэрилин

Я всегда рекомендую будущим психотерапевтам проходить личную терапию: «Ваше собственное «я» – ваш главный инструмент. Узнайте о нем как можно больше. Пусть слепые пятна не мешают вам понимать пациентов или сочувствовать им». При этом сам я со своих пятнадцати лет был настолько тесно связан с одной-единственной женщиной, а после этого всю жизнь настолько погружен в жизнь своего обширного семейства, что нередко задаюсь вопросом, способен ли я по-настоящему проникнуть в мир человека, который идет по жизни в одиночку.

Мои мысли о годах до Мэрилин часто окрашены в контрастные черно-белые тона, а с ее появлением в жизни стали проявляться краски. Я со сверхъестественной ясностью помню нашу первую встречу. Я учился в десятом классе школы Рузвельта и уже около полугода жил в своем новом районе. Однажды, ранним субботним вечером, после пары часов игры на деньги в боулинг, мой приятель по этой игре, Луи Розенталь, сказал мне, что неподалеку, в доме Мэрилин Кёник, сегодня вечеринка, и предложил пойти туда вместе с ним. Я был стеснителен и не особенно любил вечеринки, да и с Мэрилин, которая училась в девятом классе на полсеместра младше меня, знаком не был; но, поскольку других планов у меня не было, я согласился пойти.

Она жила в благопристойном кирпичном доме, точно таком же, как и любой другой дом на Четвертой улице между Фаррагутом и Галлатином. Небольшое крыльцо вело к маленькой передней веранде. Подойдя к дому, мы увидели толпу ребят нашего возраста. Они собрались у крыльца и на веранде и пытались проникнуть внутрь дома. Я, избегавший больших сборищ, тут же развернулся и направился было домой, но мой изобретательный приятель Луи ухватил меня за локоть, указал на окно, смотревшее на веранду, и предложил приподнять раму и пролезть внутрь.

Я последовал за ним, мы пробрались сквозь толчею в прихожей и увидели в центре бурлящей толпы миниатюрную, очень хорошенькую, живую девочку с длинными светло-каштановыми волосами, принимавшую гостей. «Вот она, эта малявка, – это и есть Мэрилин Кёник», – сказал Луи и двинулся в следующую комнату, чтобы добыть для себя напиток.

Как я уже говорил, я был очень стеснительным, но в тот вечер ошеломил сам себя – вместо того чтобы развернуться и ретироваться через окно, протолкался сквозь толпу и добрался таки до хозяйки вечера. Подойдя к ней, я понял, что не знаю, что сказать, и просто выпалил на одном дыхании: «Привет, я Ирв Ялом, и я только что влез к тебе в окно!» Не помню, какими еще словами мы успели обменяться, прежде чем ее внимание отвлекли другие гости, но точно знаю, что был сражен на месте: меня влекло к ней, как гвоздь влечет к магниту, и у меня возникло мгновенное ощущение – нет, больше, чем ощущение, – *убежденность*, что она сыграет важнейшую роль в моей жизни.

Я позвонил ей на следующий день, весь на нервах – впервые в жизни позвонил девочке! – и пригласил ее в кино. Это было мое первое в жизни свидание. О чем мы говорили? Помню, она рассказала, что недавно провела бессонную ночь, читая «Унесенных ветром», и на следующий день ей пришлось пропустить из-за этого школу. Мне это показалось настолько очаровательным, что я еле мог сосредоточиться.

Мы оба много читали и сразу же втянулись в бесконечные разговоры о книгах. По какой-то причине Мэрилин как будто очень заинтересовалась моей преданностью биографической секции в центральной библиотеке. Кто бы мог подумать, что мое решение прочесть «биографии от А до Я» окажется так кстати?! Мы стали рекомендовать друг другу литературу – я в то время жадно поглощал Джона Стейнбека, а она читала книги, которые я даже не рассматри-

вал: «Джейн Эйр» и «Грозовой перевал». Я наслаждался Джеймсом Фарреллом, она – Джейн Остин, и мы оба любили Томаса Вулфа – иногда даже читали друг другу вслух наиболее мелодичные отрывки из «Взгляни на дом свой, ангел».

Всего пара свиданий с Мэрилин, и я поспорил со своим кузенком Джем на тридцать долларов, что женюсь на ней. Он уплатил свой проигрыш в день нашей свадьбы!

Что в ней было такого особенного? Пока я писал эти мемуары, заново знакомился со своим более молодым «я» и сознавал, какой хаотичной личностью был и как стонал всю жизнь о том, что у меня не было наставника, меня внезапно озарило: а ведь наставник-то у меня *был*. Мэрилин! Мое бессознательное почувало, что она, как никто другой, подходит для этой задачи – воспитать и возвысить меня.

Семейная история Мэрилин была достаточно схожа с моей, чтобы я свободно чувствовал себя в общении, но отличалась в ключевых моментах. Ее родители тоже были иммигрантами из Восточной Европы, но опередили моих то ли на четверть, то ли на половину поколения и получили кое-какое нерелигиозное образование.

Ее отец прибыл в Штаты подростком, но не так сильно хлебнул лиха в экономическом плане, как мои родители. Он был образован, романтичен, любил оперу и объехал всю страну, точь-в-точь как его герой, Уолт Уитмен, сменив ряд низкооплачиваемых профессий, чтобы прокормиться. После женитьбы на Селии, матери Мэрилин, – прекрасной и доброй женщине, выросшей в Кракове, в которой не было и следа гневливости и грубости, столь свойственных моей матери, – он открыл продуктовый магазинчик, который, как мы узнали спустя несколько лет после нашей встречи, располагался всего в одном квартале от магазина моего отца! Должно быть, я проходил или проезжал мимо этого маленького магазинчика сотни раз. Но ее отец смог уберечь свою семью от жизни среди нищеты и опасностей, так что Мэрилин росла в скромном, но безопасном районе, где обитал средний класс, и почти никогда не бывала в отцовском магазине.

Наши родители неоднократно виделись после того, как мы с Мэрилин начали встречаться, и, как ни парадоксально, ее родители прониклись к моим огромным уважением. Ее отец считал, что мой отец был очень успешным бизнесменом, и совершенно правильно понял, что моя мать обладала острым, проницательным умом и была реальной движущей силой, стоявшей за успехом отца. Увы, отец Мэрилин умер, когда мне было двадцать два года, и мне не удалось его близко узнать, хотя именно он сводил меня на первую в моей жизни оперу (это была «Летучая мышь»).

Мэрилин училась на семестр младше меня, и в те времена церемонии вручения аттестатов проводились дважды в год – в феврале и в июне. Через пару месяцев после знакомства я присутствовал на ее февральском выпускном девятого класса школы Макфарленда (которая соседствовала с моей школой) и благоговейно слушал, как Мэрилин с замечательным самообладанием выступила с прощальной речью. О, как я восхищался этой девушкой и любил ее!

Все старшие классы мы были неразлучны, каждый день вместе обедали и неизменно встречались по выходным. Общая страсть к литературе так сильно нас объединяла, что наши прочие, отличавшиеся интересы, казалось, почти не имели значения. Мэрилин очень рано влюбилась во французский язык, литературу и культуру, в то время как я предпочитал естественные науки. Я неверно произносил любое французское слово, какое мне доводилось видеть или слышать, а она, заглядывая в мой микроскоп, видела только собственные ресницы. Мы оба обожали уроки английского и, в отличие от других учеников нашей школы, упивались обязательным чтением: «Алой буквой», «Сайласом Марнером» и «Возвращением на родину»<sup>14</sup>.

Однажды послеполуденные уроки в школе были отменены, чтобы все мы могли побывать на показе британского фильма 1946 года «Большие надежды». Мы с Мэрилин сидели рядом и

---

<sup>14</sup> Романы Натаниэля Готорна, Джордж Элиот и Томаса Харди соответственно. – *Прим. перев.*

держались за руки. Этот фильм был и остается одним из наших любимых; за минувшие десятилетия мы, наверное, упоминали о нем с сотню раз. Он открыл для меня мир Диккенса, и вскоре я уже проглотил все произведения, когда-либо созданные этим писателем. С тех пор я многократно перечитывал его книги. Годы спустя, читая лекции и путешествуя по Соединенным Штатам и Великобритании, я завел себе привычку заходить в букинистические магазины и покупать первые издания Диккенса. Его книги – единственное, что я когда-либо коллекционировал.

Мэрилин уже тогда была настолько очаровательной, умной и приятной в общении, что покорила всех своих учителей. Обо мне же в те годы можно было сказать многое, но никому и в голову не пришло бы назвать меня очаровательным. Я хорошо учился, особенно преуспевая в естественных науках и английском, учительница которого, мисс Дэвис, регулярно усиливала мою непопулярность, расхваливая мои сочинения и вешая их на классную доску.

К сожалению, в двенадцатом классе меня перевели к мисс Макколи, другой учительнице английского, которая также вела уроки у Мэрилин и весьма высоко ценила ее. Однажды она увидела, как я болтал с Мэрилин в раздевалке, прислонившись к ее шкафчику, и с тех пор называла меня не иначе как «ковбоем из раздевалки». Она так и не простила мне ухаживания за Мэрилин, и на ее занятиях у меня не было никаких шансов. Она неизменно отпускала едкие и насмешливые комментарии о моих письменных заданиях, высмеивала меня за неудачное исполнение роли вестника во время классного чтения «Короля Лира».

Недавно двое из моих детей, просматривая старые бумаги в нашей кладовке, наткнулись на мое восторженное сочинение о бейсболе, за которое мисс Макколи поставила мне тройку с плюсом. Дети были возмущены, как безжалостно она исчеркала страницы своими замечаниями – «Глупость!» или «Сколько энтузиазма по поводу таких мелочей». А ведь я, имейте в виду, писал о таких гигантах, как «Потрясающий» Джо Ди Маджо, Фил Риззутто, «Кинг Конг» Келлер, «Смоки» Джо Пейдж и «Надежный Старина» Томми Генрих.

Я никогда не забываю о том, как мне повезло, что Мэрилин появилась в моей жизни, когда мне было пятнадцать. Она возвышала мои мысли, подстегивала самолюбие и подавала пример благородства, великодушия и преданности духовной жизни. Так что спасибо тебе, Луи, где бы ты ни был! Огромное тебе спасибо, что помог мне залезть в то окно!

## Глава одиннадцатая

### Университетские дни

Два года назад мы с моим другом Ларри Зароффом сидели в кафе в Саусалито с видом на залив Сан-Франциско. Ветер трепал чаек, и саусалитский паром, кренясь, полз к городу, пока не скрылся из виду. Мы с Ларри предавались воспоминаниям о колледже: мы учились в Университете Джорджа Вашингтона и ходили вместе на большинство занятий. Это были такие сложные курсы, как органическая химия, качественный анализ и сравнительная анатомия, на которой мы препарировали кошку, – орган за органом, мышцу за мышцей. Мы наперебой делились воспоминаниями о тех днях, которые стали для меня самым напряженным временем в жизни, а потом Ларри пустился в рассказ о какой-то безумной вечеринке студенческого братства, с обильными возлияниями и компанией благосклонных девиц.

Я напрягся:

– Братство? Что еще за братство?

– ТЭП, разумеется.

– О чем это ты?

– Тау Эпсилон Пи. Да что с тобой сегодня, Ирв?

– Со мной?! Я ужасно расстроен. Я виделся с тобой каждый день – и ни разу не слышал о студенческом братстве в Университете Джорджа Вашингтона. Почему мне не предложили вступить? Почему ты меня не пригласил?

– Ирв, как, по-твоему, я могу это помнить? На дворе 2014 год, а мы начали учиться в Джордже Вашингтоне в 1949-м!

Расставшись с Ларри, я позвонил в Вашингтон своему близкому другу, Гербу Котцу. Герб, Ларри и я в колледже были неразлучны. Мы составляли тройку лучших по каждому изучаемому предмету, чуть ли не каждый день вместе ездили в колледж и вместе обедали.

– Герб, я только что разговаривал с Ларри, и он поведал мне, что принадлежал в Джордже Вашингтоне к какому-то братству, некоему ТЭП. Ты об этом знал?

– Ну... да. Я тоже был членом ТЭП.

– ЧТО?! И ты? Не могу поверить! Почему вы не предложили мне вступить?

– Да кто же теперь это вспомнит? Наверное, я предлагал тебе, но единственное, чем мы занимались, – это распивали пиво по пятницам, а ты пиво ненавидишь. Да и не встречался ты тогда ни с кем – все хранил верность Мэрилин.

Я растревлял свою обиду еще пару месяцев, пока во время генеральной уборки Мэрилин не обнаружила письмо 1949 года, приглашавшее меня в Тау Эпсилон Пи, и удостоверение о членстве. Я действительно был членом этого братства, но ни разу не присутствовал на его встречах, и этот факт напрочь стерся из моей памяти!

Этот яркий пример показывает, насколько зажат и тревожен я был в мои студенческие годы в Университете Джорджа Вашингтона, находившемся в пятнадцати минутах езды от нашего дома. До сих пор я завидую тем, кто с удовольствием вспоминает этот период – чувство единения с однокашниками, соседи по комнате в общежитии, ставшие друзьями на всю жизнь, командный дух, которым проникнуты спортивные состязания, взаимные розыгрыши соперничающих студенческих братств, доверительные отношения с профессором-наставником и тайные сообщества вроде тех, что запечатлены в известном фильме 1989 года «Общество мертвых поэтов». Все это прошло мимо меня.

При этом я сознаю: я был настолько мнителен и неудовлетворен собой, что совершенно не важно, что учился я не в колледже из Лиги Плюща. Сомневаюсь, что мне пришлось бы по душе весь этот антураж. Не уверен даже, что я выжил бы в такой среде.

В моей психотерапевтической работе меня всегда поражало, как часто пациенты начинают вспоминать что-то о своей жизни на тех этапах, которые в это время проживают их дети. Со мной это случалось неоднократно много лет назад, когда мои дети переходили в выпускной класс школы и задумывались о выборе колледжа, а потом еще раз, когда учебу в университете начал мой внук Десмонд.

Меня охватывали изумление и зависть при виде того, сколько ресурсов доступно нынешней молодежи, размышляющей, куда пойти учиться после школы. В распоряжении Десмонда были консультанты по выбору колледжа, справочники по лучшей сотне небольших гуманитарных колледжей и беседы с университетскими рекрутерами. Я в свои школьные дни не припомню вообще никакой помощи: консультантов по выбору колледжа в то время не существовало, а мои родители и родственники ничего обо всем этом не знали. Более того – и это очень важно – я не знал никого в своей школе или по соседству, кто собирался бы *уехать* в университет: все мои знакомые выбирали один из двух местных колледжей – Мэрилендский университет или Университет Джорджа Вашингтона (оба они в то время были огромными, посредственными и безликими образовательными учреждениями).

На меня оказал решающее влияние муж моей сестры, Мортон Роуз. Я очень уважал его: он был превосходным врачом, учился в Университете Джорджа Вашингтона, сначала на подготовительном отделении, а потом и в медицинской школе, и я был убежден – если уж этот университет хорош для Мортонна, то и мне сгодится.

Наконец, когда в школе мне присудили стипендию Эммы Карр – полную оплату обучения в Университете Джорджа Вашингтона, – вопрос был решен, и не имело никакого значения, что ежегодная стоимость этого самого обучения составляла всего триста долларов.

В то время мне казалось, что вся моя жизнь, все мое будущее стоят на кону. В четырнадцать лет я познакомился с доктором Манчестером и с тех пор знал, что хочу учиться на медицинском факультете. Но всем было известно, что в медицинских учреждениях существует жесткая пятипроцентная квота на студентов-евреев: на медицинском факультете Университета Джорджа Вашингтона набирали сто человек на курс и ежегодно принимали всего пятерых евреев. В нашем школьном еврейском братстве, в котором я состоял (Эпсилон Лямбда Фи), умных выпускников, планировавших пройти подготовительный курс и подать заявление на медицинский факультет, насчитывалось намного больше пяти, а ведь это было лишь одно из нескольких подобных братств в Вашингтоне. Конкуренция была сильнейшая, поэтому с первого же дня учебы в колледже я выбрал для себя стратегию: отложу в сторону все прочее, буду трудиться усерднее всех и получать такие хорошие оценки, что меня не смогут не взять на медицинский.

Как оказалось, не один я избрал такой подход. Складывалось впечатление, будто все знакомые мне молодые люди, все сыновья еврейских иммигрантов из Европы, съехавшихся в Америку после Первой мировой войны, считали медицину идеальной профессией для себя. Если не получалось поступить в медицинскую школу, оставались еще стоматологическая, юридическая и ветеринарная школы или – последнее прибежище и наименее желательный вариант для идеалистов из нашего числа – вступление в семейный бизнес. Вот популярная шутка тех дней: у еврея есть два пути – стать либо доктором, либо неудачником.

Родители никак не участвовали в моем решении учиться в Джордже Вашингтоне. В те дни мы не очень близко общались: от нашего дома до магазина было полчаса езды, и я мало виделся с родителями, если не считать воскресений. Но даже в выходные мы редко разговаривали на важные темы. С матерью я вообще почти не разговаривал много лет, с тех пор как она обвинила меня в сердечном приступе, случившемся с отцом. Я принял решение защищать

себя, держа дистанцию. Мне хотелось бы большей близости с отцом, но они с матерью были слишком тесно связаны друг с другом.

Помню, как в выпускном классе школы я однажды вез мать в магазин. Как раз когда мы поравнялись с парком Солджерс Хоум, она спросила меня о планах на будущее. Я сказал, что в следующем году начинаю учиться в колледже и что решил попробовать поступить в медицинскую школу. Она кивнула и, казалось, была очень довольна, но этим все и кончилось. Мы больше не заговаривали о моем будущем. Теперь, размышляя об этом, я задаюсь вопросом: не наводил ли я каким-то образом страх на нее и отца, не казалось ли им, что у них больше нет со мной никакого контакта, что меня уже забрала у них непонятная им культура?

Тем не менее я воспринял как должное то, что они пожелали оплатить мое обучение и все прочие расходы во время учебы в колледже и медицинской школе. Вне зависимости от наших отношений, в культуре моих родителей было немыслимо поступить иначе, и я последовал их примеру, когда растил своих собственных детей.

Таким образом, для меня и моих ближайших друзей базовый цикл колледжа не был пределом мечтаний: он был препятствием, которое следовало преодолеть как можно быстрее. В обычной ситуации студенты поступали в медицинскую школу после четырех лет базового цикла и со степенью бакалавра, но временами медицинские школы принимали выдающихся претендентов после всего трех лет предварительного обучения, при условии, что они прошли все обязательные курсы. Я, наряду со своими сверстниками, выбрал этот план и, как следствие, решил не изучать почти никаких предметов помимо обязательных для поступления на медицинский (химии, физиологии, биологии, физики, анатомии позвоночных и немецкого языка).

Что я помню из своих дней в колледже? За три года учебы я прослушал лишь три курса по выбору, и все они были курсами литературы. Я жил дома и следовал жесткому расписанию: упорный труд, зубрежка, лабораторные эксперименты, бессонные ночи перед экзаменами, занятия семь дней в неделю.

К чему такая лихорадка? К чему такая спешка? Для меня – или, если уж на то пошло, для любого из моих близких друзей – было бы совершенно немыслимым делом позволить себе годовой перерыв в учебе, который нынче называют «гэпом», чтобы вступить в Корпус Мира (которого тогда еще не существовало), или волонтером поехать в другую страну и заняться там гуманитарной деятельностью, или выбрать любой другой вариант из столь распространенных в мире моих детей и их сверстников. Нам всем предстояло поступление в медицинскую школу. Никому и в голову не приходило потратить на путь до нее больше времени, чем строго необходимо.

Но на меня действовали и другие факторы: мне надо было упрочить свои отношения с Мэрилин. Мне нужно было добиться успеха, показать ей, что у меня будет надежная карьера, что я перспективен, и тогда она выйдет за меня замуж. Она оканчивала школу на полгода позже меня, и учительница французского уговорила ее подать документы в Уэллсли-колледж<sup>15</sup>, который принял ее сразу же.

В выпускном классе глава школьного «сестринства» твердила Мэрилин, что она слишком молода, чтобы связывать себя обязательствами, и что ей следовало бы – по крайней мере иногда – встречаться и с другими парнями. Мне это было не по душе, и я до сих пор помню имена двух парней, с которыми она ходила на свидания.

Стоило ей уехать в Уэллсли, как я начал ужасно бояться потерять ее: мне казалось, что я не выдержу конкуренции с парнями из университетов Лиги Плюща, с которыми она будет встречаться. Я засыпал ее письмами, полными переживаний, что я не могу быть достаточно интересен ей, что она знакомится с другими мужчинами, что я могу потерять ее. Вся моя жизнь в то время заключалась в изучении подготовительных предметов к медицинской школе, к кото-

---

<sup>15</sup> Частный женский колледж свободных искусств в штате Массачусетс. – Прим. перев.

рым Мэрилин не питала ни малейшего интереса. Я сохранил все письма Мэрилин, и пару лет назад университетский журнал Уэллсли опубликовал часть из них.

В те годы я был постоянно задавлен тревогой и страдал тяжелой бессонницей. В этом состоянии следовало бы обратиться к психотерапевту, но у меня не было такой возможности. Однако *если бы* я тогда встретился с психотерапевтом вроде меня, наш диалог выглядел бы примерно так.

**Доктор Ялом:** По телефону вы сказали, что ваша тревога на грани выносимого. Расскажите мне об этом подробнее.

**Ирвин:** Посмотрите на мои ногти, обкусанные почти до мяса. Я стыжусь их и стараюсь прятать руки от собеседников – посмотрите на них! Грудь сдавливает точно тисками. Мой сон совершенно расстроен. Я глотаю дексадрин и кофе, чтобы выдерживать бессонные ночи, готовясь к экзаменам, и теперь вообще не могу уснуть без снотворного.

**Доктор Ялом:** Что именно вы принимаете?

**Ирвин:** Секонал, каждый вечер.

**Доктор Ялом:** Кто его вам прописал?

**Ирвин:** Я просто потихоньку таскаю его у родителей. Сколько я их помню, они оба каждый вечер принимали секонал. Я уж думаю, не генетическая ли эта бессонница?

**Доктор Ялом:** Вы говорили, что в этом году учеба отнимает у вас очень много сил. А что было у вас со сном в предшествующие годы – например, в старших классах школы?

**Ирвин:** Иногда мне мешало напряжение из-за сексуального возбуждения, и приходилось мастурбировать, чтобы уснуть. Но, как правило, я спал хорошо – до этого года.

**Доктор Ялом:** Вот вам ответ, не генетическая ли это бессонница. Как вы считаете, ваши однокурсники также страдают от бессонницы и тревоги?

**Ирвин:** Сомневаюсь. И уж точно не знакомые мне студенты-неевреи! Они как-то спокойнее, расслабленнее. Один из них играет питчером в университетской бейсбольной команде, другие ухаживают за девушками или участвуют в жизни студенческого братства.

**Доктор Ялом:** Значит, можно предположить, что ваши проблемы не генетические и не вызваны обстоятельствами, а возникают из-за ваших личных реакций на происходящее.

**Ирвин:** Знаю-знаю – я фанатик. Я прыгаю выше головы по каждому предмету, перед каждым сдаваемым экзаменом. Всякий раз как на доску вывешивают графики результатов по любому экзамену, я вижу сначала общую кривую своего курса, а потом вижу свой результат – отдельно от всех, далеко превысивший то число баллов, которое было бы необходимо для отличной отметки. Но мне нужна абсолютная уверенность, иначе я схожу с ума.

**Доктор Ялом:** А почему вы так сходите с ума? Как вы думаете, что за этим стоит?

**Ирвин:** Ну, прежде всего, существует пятипроцентная квота на евреев, которых принимают в медицинскую школу, – одного этого уже достаточно!

**Доктор Ялом:** Но вы говорите, что прыгаете выше головы. Что отличной отметки для вас недостаточно – вам нужно отлично с плюсом. Можно ли сказать, что ваши друзья-евреи в аналогичной ситуации проявляют такое же рвение?

**Ирвин:** Они тоже вкалывают как проклятые. Мы часто занимаемся вместе. Но нет, они не в таком исступлении. Может быть, у них более приятная обстановка в семье. У них в жизни есть и другие интересы, они с кем-то встречаются, играют в баскетбол... Думаю, у них всё более сбалансировано.

**Доктор Ялом:** А каков *ваш* баланс? Как он выглядит?

**Ирвин:** Примерно восемьдесят пять процентов учебы и пятнадцать процентов тревоги.

**Доктор Ялом:** Эти пятнадцать процентов – тревога из-за поступления в медицинскую школу?

**Ирвин:** Это и еще кое-что – мои отношения с Мэрилин. Я очень хочу провести свою жизнь с ней. Мы были неразлучны все время учебы в старших классах.

**Доктор Ялом:** Видитесь ли вы сейчас?

**Ирвин:** Следующие четыре года она будет учиться в колледже Уэллсли в Массачусетсе, но мы пишем друг другу письма чуть ли не через день. Иногда я ей звоню, но междугородные звонки слишком дороги. Мать постоянно на меня ругается. Мэрилин обожает Уэллсли и ведет нормальную здоровую студенческую жизнь, в том числе встречается с парнями, и всякий раз, как она упоминает о каком-нибудь парне из Гарварда, с которым у нее было свидание, у меня сносит крышу.

**Доктор Ялом:** Вы боитесь – чего?..

**Ирвин:** Очевидного – что она познакомится с каким-нибудь парнем, который сможет предложить ей больше, чем я, – с более симпатичным, из высшего класса, благородного происхождения, с лучшим будущим... Всякое такое.

**Доктор Ялом:** А что вы можете предложить ей?

**Ирвин:** Вот именно поэтому поступление в медицинскую школу значит для меня так много – практически всё! Я не думаю, что помимо этого у меня есть какие-то достоинства.

**Доктор Ялом:** Вы встречаетесь с другими женщинами?

**Ирвин:** Нет, нет времени.

**Доктор Ялом:** Так вы живете монашеской жизнью? Это, наверно, очень тяжело, особенно учитывая, что ваша девушка так не живет.

**Ирвин:** В точку! Иными словами, я настроен серьезно и храню верность, а она – нет.

**Доктор Ялом:** Обычно этот возраст – время сильных сексуальных желаний.

**Ирвин:** Ага, я все время чувствую себя полупомешанным из-за секса, иногда – на три четверти помешанным. Но что я могу сделать? Я ведь не могу встречаться с какой-нибудь девушкой и говорить: «Я люблю другую, которая сейчас очень далеко, и единственное, что мне от тебя нужно, – это секс». Так что же мне – обманывать? Врун из меня никакой. Я не дамский угодник, и пока мой удел – фрустрация. Я день и ночь мечтаю познакомиться с какой-нибудь красивой и пылкой соседкой, которая тоскует по сексу, пока мужа нет в городе. Это было бы идеально. Особенно момент соседства – чтоб не тратить время на езду к ней.

**Доктор Ялом:** Ирвин, по моему убеждению, вы испытываете намного больше дискомфорта, чем нужно. Думаю, вам пошла бы на пользу психотерапия – вы носите в себе бездну тревоги, и вам предстоит немало

потрудиться: понять, почему ваша жизнь так разбалансирована, почему вам так необходимо сверхусердно заниматься, почему вам кажется, что вы мало что можете предложить женщине, почему вас настолько душит любовь к ней, что вы рискуете отвлечь ее от себя. Думаю, я сумею вам помочь, и предлагаю начать встречи дважды в неделю.

**Ирвин:** Дважды в неделю! А ведь мне понадобится почти полчаса, чтобы добраться сюда, и еще полчаса, чтобы вернуться домой. Это целых четыре часа в неделю. А у меня почти каждую неделю экзамены.

**Доктор Ялом:** Я подозревал, что вы можете так отреагировать, поэтому хочу еще кое-что сказать. Вы об этом не говорили, но у меня есть сильное предчувствие, что, продолжая свое медицинское образование, вы найдете особенно интересной психиатрию. И если так, то часы, которые мы с вами проведем вместе, послужат двойной цели: они не только помогут вам, но и расширят ваше понимание этой области.

**Ирвин:** Я вижу достоинства вашего предложения, но это будущее кажется таким... таким... далеким. А тревога – враг, нависший надо мной прямо сейчас, и я боюсь, что вычеркивание четырех часов из моей учебной недели лишь создаст еще большую тревогу, чем та, которую мы сможем развеять во время наших бесед. Позвольте мне подумать об этом!

Оглядываясь назад, я с сожалением думаю, что хорошо было бы все-таки *начать* проходить психотерапию в бакалавриате, но в 1950-х у меня не было ни одного знакомого, посещавшего психотерапевта. Мне каким-то образом удалось одолеть эти три кошмарных года. Навероятно помогало то, что мы с Мэрилин проводили летние каникулы вместе, работая в лагерях вожатыми. Те лагерные дни были свободны от учебного стресса, и я купался в своей любви к Мэрилин, заботился о юных подопечных, учил их играть в теннис и играл сам, сводил дружбу с людьми, которые интересовались чем-то еще помимо медицины. В один такой год моим коллегой-вожатым был Пол Хорн, который впоследствии стал известным флейтистом, и мы оставались друзьями до самой его смерти.

Если не считать этих летних передышек, мои студенческие годы были мрачны: я – один из множества студентов в потоке, контакт с преподавателями минимален. Однако, несмотря на напряжение и унылые, сухие лекции, содержание курсов меня завораживало. Особенно это касалось органической химии – бензолное кольцо с его красотой и простотой, сочетающимися с бесконечной сложностью, очаровало меня, и два лета подряд я зарабатывал себе на карманные расходы, подтягивая других студентов по этой теме.

Однако самыми любимыми были три предмета по выбору – литературные курсы: «Современная американская поэзия», «Мировая драматургия» и «Расцвет романа». На этих занятиях я чувствовал себя по-настоящему живым и упивался чтением книг и написанием сочинений – единственных письменных работ, которые я выполнял в колледже.

С особенными чувствами вспоминаю курс мировой драматургии. Аудитория его была самой маленькой из всех курсов, что я посещал (всего сорок студентов), а содержание – поистине чарующим. Этот предмет запомнился еще и тем, что у меня сложился личный контакт с его преподавательницей. Это была привлекательная женщина средних лет, со светлыми волосами, убранными в тугий пучок.

Как-то раз она попросила меня зайти к ней в кабинет и похвалила мое сочинение на тему «Прометей прикованного» Эсхила, сказав, что пишу я превосходно, а мое мышление отличается оригинальностью. Она спросила, не задумывался ли я о карьере в гуманитарной области. Я и по сей день помню ее сияющее лицо. Она была единственной из преподавателей, кто знал мое имя.

Если не считать одной четверки с плюсом за экзамен по немецкому, по всем предметам в колледже я имел твердые отлично с плюсом, но даже при этом процесс поступления в медицинскую школу оставался сплошной нервотрепкой. Я отослал документы сразу в девятнадцать школ и получил восемнадцать отказов и одно согласие (с медицинского факультета Университета Джорджа Вашингтона, на котором просто не могли отказать выпускнику их колледжа со средним баллом, близким к 4.0).

Почему-то само существование антисемитской квоты в медицинских школах не бесило меня. Она была повсеместной; я никогда не знал ничего иного и, следуя примеру родителей, просто принимал ее как нечто само собой разумеющееся. Я никогда не занимал позицию активиста и даже не гневался на абсолютную несправедливость этой системы. Теперь, оглядываясь назад, я полагаю, что это отсутствие негодования было результатом низкой самооценки: я принял мировоззрение тех, кто меня притеснял.

Я до сих пор ощущаю дрожь ликования, которую почувствовал, получив из письма «Джорджа Вашингтона» с сообщением, что меня приняли: это был величайший восторг в моей жизни. Я помчался к телефону, чтобы позвонить Мэрилин. Она постаралась, как могла, выразить свой энтузиазм, хотя и прежде ничуть не сомневалась, что меня примут.

После этого моя жизнь изменилась – у меня внезапно появилось свободное время. Я взял роман Достоевского и снова начал читать. Я попытал счастья в университетской теннисной команде и сумел сыграть один парный матч; вступил в университетскую команду по шахматам, где отыграл на второй доске несколько межвузовских матчей.

Я считаю первый год медицинской школы худшим годом за всю свою жизнь – не только из-за высоких академических требований, но и потому, что Мэрилин на второй год учебы уехала во Францию. Я вгрызался в науки, зубрил все, что требовалось выучить, и трудился, пожалуй, еще усерднее, чем в колледже. Единственной моей отрадой в медицинской школе были отношения с Гербом Котцем и Ларри Зароффом, которые стали моими друзьями на всю жизнь. Они были моими партнерами в анатомичке, когда мы вскрывали труп, названный нами Агамемноном.

Не в силах больше выносить разлуку с Мэрилин, я решил к концу первого курса перевестись в Бостон и – *mirabile dictu*<sup>16</sup> – меня приняли в медицинскую школу Бостонского университета, а когда Мэрилин вернулась после года учебы во Франции, мы обручились.

В Бостоне я снимал комнату в большом четырехэтажном пансионе «Бэк Бэй» на Мальборо-стрит. Это был первый год вдали от дома, и моя жизнь, внутренняя и внешняя, начала меняться к лучшему. В том же пансионе жили и некоторые другие студенты, и у меня быстро появились приятели. Вскоре мы начали ежедневно ездить на занятия компанией в три-четыре человека. Один из этих приятелей, Боб Бергер, стал моим другом на всю жизнь. О нем еще пойдет речь.

---

<sup>16</sup> Удивительно (лат.). – Прим. перев.



*Комната Ялома в Бостоне во время учебы в медицинской школе, 1953 г.*

Но главным камнем преткновения во время моего пребывания в Бостоне и учебы на втором курсе медицинской школы были уикенды с Мэрилин. В Уэллсли-колледже действовали очень строгие правила насчет студенток, проводящих по вечерам и ночам время вне колледжа без присмотра взрослых. Поэтому каждую неделю Мэрилин приходилось изобретать какой-нибудь правдоподобный предлог и добывать приглашение от какой-нибудь свободомыслящей подруги. Часть выходных мы посвящали занятиям, а в остальное время ездили кататься по побережью Новой Англии, ходили по музеям в Бостоне и ужинали в ресторане «Дарджин-Парк».

Моя внутренняя жизнь тоже менялась. Мое исступление прошло, тревожность снизилась до минимума, и я, наконец, смог спокойно спать. Уже в первый год учебы в медицинской школе я знал, что займусь психиатрией, хотя прослушал всего пару лекций по этому предмету и ни разу не беседовал с настоящим психиатром. Думаю, я выбрал психиатрию еще до того, как поступил в школу: это решение проистекало из моей страсти к литературе и убежденности, что психиатрия обеспечит мне близость ко всем великим писателям, которых я любил.

Меня тянуло и к медицине, и к литературе. Моим самым большим удовольствием было погрузиться в мир романа, и я снова и снова говорил себе, что лучшее, что человек может сделать в жизни, – это написать прекрасный роман. Я всегда был жаден до сюжетов, и с тех пор как в раннем отрочестве впервые прочел «Остров сокровищ», глубоко нырнул в истории, рассказанные великими писателями.

Даже теперь, в свои восемьдесят пять, я пишу эти слова, а сам жду не дождусь вечера, чтобы вернуться к «Маршу Радецкого» Йозефа Рота. Я стараюсь растянуть это удовольствие

и борюсь с желанием проглотить его за один присест. Когда история представляет собой нечто большее, чем рассказ о человеческой жизни, и является исследованием человеческих желаний, страхов и поисков смысла – как, например, эта книга, – она завораживает меня. И завораживает меня то, что эта драма осмысленна вдвойне, ведь она затрагивает не только человеческие жизни, но и параллельные процессы, происходящие во всей культуре, в данном случае в Австро-Венгерской империи перед Первой мировой войной.

При всей моей любви к литературе медицина ни в коем случае не была для меня выбором «по умолчанию», поскольку науки всегда завораживали меня не меньше, особенно биология, эмбриология и биохимия. А еще я очень хотел быть полезным и передавать другим то, чем одарил меня доктор Манчестер в тяжелую для меня минуту.

## Глава двенадцатая

### Женитьба на Мэрилин

В 1954 году, когда мы поженились, Мэрилин уже была убежденной франкофилкой. Проведя свой второй курс во Франции, она мечтала о медовом месяце в Европе, в то время как я, провинциальный парень, который никогда не выезжал за пределы северо-восточных Соединенных Штатов, не питал ни малейшего интереса к заграничным поездкам. Но она пошла на хитрость:

– А как ты смотришь на то, чтобы провести медовый месяц, путешествуя по Франции на мотоцикле?

Мэрилин была в курсе, что мотоциклы и мопеды – моя страсть, а также знала, что в Соединенных Штатах эти средства передвижения нельзя взять в аренду.

– Вот, взгляни-ка, – сказала она и протянула мне рекламный буклет парижской конторы, где можно было взять в аренду «Веспу».

Итак, мы отправились в Париж, и в прокатной конторе в одном квартале от Триумфальной арки я с волнением выбрал большую «Веспу». Мне необходимо было убедить подозрительного менеджера, что я – опытный водитель. Я оседлал мотороллер и, изобразив непринужденность, осведомился о расположении стартера и педали газа. На лице менеджера отражалось серьезное беспокойство, когда он показывал мне маленькую кнопку стартера и пояснял, что подача топлива регулируется вращением рукоятей.

– О, – заметил я, – в США все по-другому. – И, не добавив больше ни слова, отбыл в тренировочную поездку, в то время как мудрая Мэрилин осталась ждать меня в ближайшем кафе.

На свою беду, я оказался на улочке с односторонним движением, которая выходила прямо на хаотичный десятиполосный круг с Триумфальной аркой в центре. Эта полуторачасовая поездка была одним из самых душераздирающих переживаний в моей жизни: автомобили и такси проносились мимо меня с обеих сторон, мне бешено сигналили, из отрывающихся окон доносились крики, мне грозили кулаком. Я не знал французского, но отчетливо понимал, что кричат мне явно не «Добро пожаловать во Францию». За время своего героического вояжа вокруг Триумфальной арки я заглох, наверное, раз тридцать, но полтора часа спустя, вновь подъехав к кафе рядом с прокатной конторой, чтобы забрать оттуда жену, я уже умел управлять «Веспой».

Тремя неделями раньше в Мэриленде, 27 июня 1954 года, мы поженились. Наш свадебный банкет состоялся в кантри-клубе «Индиан Спринг», принадлежавшем богатому дядюшке Мэрилин, Сэмюэлу Эйгу. Сразу после этого я занялся добычей денег на наши европейские каникулы: родители содержали меня и оплачивали обучение в медицинской школе, так что к ним я обратиться не мог. В последние пару лет мы с моим кузенком Джем торговали фейерверками на Четвертое июля с сооруженного нами лотка (это как раз тот Джей, что проспорил мне тридцать долларов, утверждая, что я не женюсь на Мэрилин).

Предыдущий год обернулся катастрофой для этого бизнеса, потому что 3 и 4 июля лили беспросветные дожди. Мы с Джемом догадались скупить весь нераспроданный запас других торговцев за бесценок и оставить его на хранение в гигантских стальных бочках из-под бензина. Мы протестировали такой способ хранения годом раньше, и фейерверки годичной давности превосходно показали себя в деле. Зато в июле следующего, 1954 года погода была к нам благосклонна, и я заработал более чем достаточно денег на медовый месяц в Европе.



*Свадьба, 1954 г.*



*Лоток с фейерверками к 4 июля, принадлежавший Джею Каплану и автору. Вашингтон, 1954 г.*

Арендовав «Веспу», мы с Мэрилин отправились в путь по французской провинции, с небольшими рюкзаками за спиной. Три недели мы колесили по долине Луары, Нормандии и Бретани, осматривали красивые шато и церкви, зачарованно любовались синими витражами Шартра. В Туре мы побывали в гостях у милого семейства, принимавшего Мэрилин в первые два месяца, которые она провела за границей.

Каждый день, проведенный в дороге, мы обедали, располагаясь на живописных лугах, сказочным французским хлебом, вином и сыром. Мэрилин к тому же лакомялась ветчиной. Ее родители были людьми более светскими и не придерживались никаких религиозных правил по поводу еды, в то время как я принадлежал к обширной армии иррациональных евреев, которые решительно выбросили за борт все религиозные убеждения, но свинины тем не менее не ели (делая исключение, разумеется, для пирожков со свиной начинкой в китайских ресторанах).

Спустя три недели мы вернулись в Париж, оттуда уехали поездом в Ниццу, а потом арендовали крохотный «Фиат-Тополино», чтобы еще месяц кататься по Италии. Одним из ярких воспоминаний, которое осталось у меня об этой экскурсии по Италии, была наша первая ночевка в маленькой гостинице с видом на Средиземное море. В качестве десерта к комплексному ужину на стол выставили большую вазу с фруктами. Мы были в восторге: деньги у нас

подходили к концу, и мы набили карманы фруктами, чтобы пообедать ими на следующий день. А на следующее утро, оплачивая счет, почувствовали себя дураками, поскольку выяснилось, что все фрукты были тщательно сосчитаны, и за каждый нам пришлось заплатить сполна.

Хотя ту поездку иначе как божественной не назовешь, помнится, я нередко бывал нетерпеливым и дерганным – может быть, из-за культурного шока, а может, из-за непонимания, как жить без тяжелого труда и учебы. Это ощущение дискомфорта в собственной шкуре преследовало меня всю молодость. Если смотреть со стороны, у меня все было великолепно: я женился на женщине, которую любил, добился поступления в медицинскую школу и хорошо справлялся с делами, но в глубине души я никогда не ощущал ни принужденности, ни уверенности – и никак не мог определить источник своей тревоги.

У меня было некое неясное ощущение, что я глубоко травмирован своим ранним детством; казалось, мне нигде нет места, я не такой достойный или заслуживающий благ человек, как другие. Как бы мне хотелось повторить эту поездку сейчас, с моей нынешней безмятежностью!

Сегодня, более чем шестьдесят лет спустя, воспоминания о нашем медовом месяце всегда вызывают улыбку на моем лице. Однако подробности дня нашей свадьбы словно выцвели – за исключением одной сцены. Ближе к концу большого свадебного банкета дядя Мэрилин, Сэм Эйг – суровый и неприступный патриарх, который отстроил значительную часть городка Силвер-Спринг в Мэриленде и был на дружеской ноге с губернатором, называл улицы в честь своих детей и ни разу прежде не снизошел до разговора со мной – подошел ко мне, обнял за плечи и прошептал на ухо, обводя второй рукой все сборище гостей: «Поздравляю, мальчик мой! Ты получаешь лучшее из возможного».

Ободряющие слова дядюшки Сэма по-прежнему верны: и дня не проходит, чтобы я не ощутил благодарности за возможность провести жизнь с Мэрилин.

## Глава тринадцатая

### Мой первый психиатрический пациент

Моя первая практика по психиатрии весной 1955 года, во время третьего года обучения в медицинской школе, проходила в Бостонской городской больнице, в амбулаторном отделении. Каждый студент-медик должен был встречаться с пациентом еженедельно в течение двенадцати недель, и каждый из нас представлял случай этого пациента на официальной практической конференции. На ней присутствовали другие студенты-практиканты и около десятка преподавателей факультета, многие из них – устрашающие титаны из Бостонской психоаналитической ассоциации. Я был на докладах других студентов и ежился от безжалостных замечаний преподавателей, словно состязавшихся в опытности и эрудиции без тени сочувствия к молодым.

Моя очередь представлять свой случай настала, когда я успел провести с пациенткой примерно восемь сессий, поэтому голос у меня поначалу подрагивал. Обычно докладчики следовали формальной структуре изложения, сначала озвучивая главную жалобу пациента, затем его анамнез, историю семьи, сведения об образовании, официальные данные психиатрического обследования и т. д. Но я решил не следовать их примеру. Вместо этого я сделал то, что казалось мне наиболее естественным, – рассказал историю.

Простым и ясным языком я описал свои восемь встреч с Мюриэл – молодой, стройной, привлекательной женщиной с ярко-рыжими волосами, вечно опущенными долу глазами и дрожащим голосом. Я поведал о нашем знакомстве, во время которого я сказал пациентке, что я студент-медик, только-только начинаю практику и буду видеться с ней следующие двенадцать недель. Я спросил Мюриэл, почему она обратилась за помощью в нашу клинику, и она проговорила тихим голосом:

– Я лесбиянка.

На секунду я замешкался, с трудом сглотнул и признался:

– Я не знаю, что это означает. Не могли бы вы просветить меня?

И она просветила – рассказала, что означает слово «лесбиянка» и на что похожа ее жизнь. Я задавал уточняющие вопросы, чтобы помочь Мюриэл говорить, и сказал, что меня восхищает ее смелость говорить так открыто. Я пообещал, что сделаю все, что в моих силах, чтобы в следующие три месяца быть ей полезным.

В начале следующего сеанса с Мюриэл я признался, что мне было очень стыдно обнаружить свое невежество. Она ответила, что наш разговор стал для нее «первым разом» – я был первым мужчиной, которому она раскрыла свою истинную историю, и что именно моя честность позволила ей быть откровенной.

Я рассказал собравшимся, что мы с Мюриэл сблизились и я с нетерпением жду наших встреч, что мы разговаривали о ее проблемах с любимой женщиной в той же манере, в какой обсуждали бы любые человеческие отношения, что теперь она стала часто встречаться со мной взглядом, что она снова возвращается к жизни и, по ее собственным словам, сожалеет о том, что у нас осталось всего четыре сеанса. Окончив свою речь, я сел, опустил голову и сжался в ожидании нападения.

Но ничего не случилось. Никто не проронил ни слова. После длительного молчания доктор Маламуд, глава отделения, и доктор Бэндлер, видный психоаналитик, вынесли заключение, что мой доклад говорит сам за себя и у них нет никаких дополнительных замечаний. Один за другим члены преподавательского состава, сидевшие за столом, выступали с похожими комментариями.

Я ушел с этого заседания ошеломленный: я ничего не сделал – всего лишь рассказал историю, которая казалась мне такой естественной и простой. Все время учебы в колледже и медицинской школе я всегда чувствовал себя невидимкой, но в этот момент все изменилось. Я вышел оттуда с мыслью, что, возможно, смогу сделать в своей сфере деятельности нечто особенное.

В последние два года учебы наша семейная жизнь была и замечательной, и напряженной. С финансами было туго, и в основном нас содержали мои родители. Мэрилин кое-что зарабатывала, трудясь на полставки в приемной стоматологического кабинета и одновременно учась в педагогической магистратуре в Гарварде, а я продолжал получать деньги, сдавая в больнице кровь. Я также подал заявку, чтобы стать донором спермы, но уролог сказал, что в моей сперме слишком низко число сперматозоидов, и посоветовал не затягивать с рождением детей.

Как он ошибался! Мэрилин зачала сразу же, в наш медовый месяц. Второе имя нашей дочери Ив – Фрэнсис – говорит о том, что она «сделана во Франции»; а полтора года спустя, когда я учился на четвертом курсе медицинской школы, Мэрилин снова забеременела.

Клиническая практика на последних двух курсах медицинской школы отнимала немало часов, но моя тревожность почему-то поутихла – наверное, вытесненная честным изнеможением от труда и ощущением, что я помогаю своим пациентам.

Я все больше проникался преданностью психиатрии и начал залпом глотать литературу по этой теме. Некоторые жуткие сцены из моей практики так и стоят перед глазами: комната, полная живых статуй, в Бостонской государственной больнице – целая палата пациентов-кататоников, проводящих свою жизнь в абсолютной неподвижности. Эти пациенты были безмолвны и проводили часы в одной и той же позе – кто у своей койки, кто у окна; некоторые сидели; кто-то бормотал, но, как правило, они молчали. Все, что мог делать медицинский персонал, – это кормить их, поддерживать в них жизнь и ласково разговаривать с ними.

Такие сцены можно было встретить в любой крупной больнице в середине 1950-х, до пришествия первого транквилизатора, торазина, а вскоре после него и стелазина, за которыми последовал непрерывный поток новых, более эффективных общих транквилизаторов.

Еще одна сцена из Бостонской государственной больницы не покидает мою память: в какой-то момент практики мне довелось наблюдать, как доктор Макс Дэй, гарвардский психиатр, ведет группу из примерно двенадцати пациентов психиатрического стационара, пытающихся изучать свои групповые процессы. Мне, как студенту-медику, было позволено присутствовать на одной встрече, с условием не участвовать в ней ни единым словом. Хотя прошло больше полувека, я по-прежнему вижу ту комнату мысленным взором.

Пациенты и доктор Дэй сидели кружком в центре большого помещения. Я сидел в углу, вне круга. Меня буквально заорожила идея обсуждения группой людей своих чувств друг к другу. Какая поразительная концепция! Но ничего поразительного не вышло. Повисали долгие паузы, чувствовалось, что всем некомфортно, а руководитель, доктор Дэй, просто сидел и ничего не делал.

Почему? Я не мог понять. Почему он не помог членам группы сломать лед, каким-то образом раскрыться? Впоследствии я присутствовал на одной из клинических конференций доктора Дэя и остался под впечатлением его пронизательности и красноречия. Но это лишь *еще сильнее* сбивало с толку. Почему же он не помог попавшей в затруднительное положение группе? Я тогда и не догадывался, что буду биться над этой проблемой многие годы своей профессиональной жизни.

## Глава четырнадцатая

### Интернатура. Таинственный доктор Блэквуд

После выпуска мы, бывшие студенты-медики, а ныне доктора медицины, перешли в годичную интернатуру. Там мы получали практический опыт в постановке диагнозов и уходе за пациентами в больнице. В первый месяц интернатуры в больнице Маунт-Синай в Нью-Йорке меня распределили в акушерское отделение. Меня удивляло, как часто там через систему громкой связи вызывали одного конкретного врача – некого доктора Блэквуда. Однажды, ассистируя при родах, я спросил старшего ординатора:

– Кто такой этот доктор Блэквуд? Я все время слышу эту фамилию, но ни разу не видел его самого.

Доктор Голд улыбнулся, а все остальные даже фыркнули от смеха.

– Я познакомлю вас с ним позже, – пообещал Голд. – Как только мы здесь закончим.

Позднее, тем же вечером доктор Голд сопровождал меня в ординаторскую, где сотрудники больницы с азартом резались в покер. Я не мог поверить своим глазам! Я почувствовал себя ребенком в кондитерской лавке.

– А который из них доктор Блэквуд? – спросил я. – И почему его всегда вызывают?

Еще один взрыв хохота. Похоже, я позабыл все акушерское отделение. Наконец, старший ординатор просветил меня:

– Вы играете в бридж? – спросил он.

Я кивнул.

– Вы знакомы с конвенцией Блэквуда при торговле в бридже?

Я снова кивнул.

– Ну, тогда вы поймете. Это и есть ваш доктор Блэквуд. Он существует только как символ покера в Маунт-Синай: когда во время партии в покер не хватает одного игрока, вызывают доктора Блэквуда.

Играли в основном частнопрактикующие акушеры, чьи пациентки были в родах. Персонал больницы и интерны допускались к игре, если не хватало игрока. Так что до конца интернатуры в Маунт-Синай я, завершив обход или будучи на ночном дежурстве, прислушивался – не вызывают ли «доктора Блэквуда», и, если был свободен, бегом устремлялся в акушерское отделение.

Ставки в игре были высоки, а интернам платили всего по двадцать пять долларов в месяц (плюс бесплатный ужин типа «все, что сможешь съесть», из остатков которого мы готовили сэндвичи для завтрашнего обеда – а вопрос завтрака решали, заказывая особенно плотный завтрак для кого-нибудь из своих пациентов).

Следующие три или четыре месяца я проигрывал свою зарплату подчистую, пока не разобрался в этой игре. А когда разобрался, смог иногда водить Мэрилин на бродвейские шоу – благодаря любезности «доктора Блэквуда».

За год практики в Маунт-Синай меня назначали то в одно отделение, то в другое: я побывал в отделении медицины внутренних болезней, акушерском, хирургическом, ортопедической хирургии, скорой помощи, урологическом и педиатрическом. Я научился помогать при родах, бинтовать растянутые голеностопы, лечить застойную сердечную недостаточность, брать кровь из бедренной артерии младенца, диагностировать неврологические заболевания, наблюдая за походкой пациента.

В хирургии мне было позволено лишь держать ретракторы для хирурга. Пару раз мне разрешали зашить кожу под конец операции, и однажды хирург с глазом острым, как лазер, резко стукнул меня по костяшкам каким-то хирургическим инструментом и обругал за то, что

я вяжу узлы «как в бакалейной лавке». Естественно, меня так и подмывало ответить: «Еще бы мне не вязать узлы, как в бакалейной лавке, – ведь я там вырос!» Но я не осмелился: старшие хирурги были людьми значительными и внушали страх.

По чистой случайности трое из моих близких друзей по медицинской школе Джорджа Вашингтона тоже были приняты в интернатуру Маунт-Синай, и мы вчетвером жили в двух смежных комнатах: весь год нам предстояло дежурить и ночевать в больнице каждые вторые сутки.

Когда я в конце первого месяца интернатуры находился в акушерском отделении, у Мэрилин начались роды, и доктор Гутмахер, глава отделения, путем кесарева сечения помог родиться нашему второму ребенку, Риду Сэмюэлу Ялому. В тот день была моя очередь ассистировать в родильной палате, но доктор Гутмахер посоветовал мне вместо этого наблюдать. Стоя в полуметре от Мэрилин, я с великим удовольствием и восторгом увидел, как Рид сделал свой первый вдох.

Общественный транспорт от нашей квартиры до Маунт-Синай ходил очень скверно, а такси было слишком дорого. Первую пару месяцев я ездил в больницу на своей машине, но, собрав коллекцию штрафов за парковку, задумался о мотороллере. По счастливой случайности я прознал об одном профессоре живописи из Йеля, который купил прекрасную новенькую «Ламбретту», но из-за обострения язвы желудка врач порекомендовал продать ее.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.